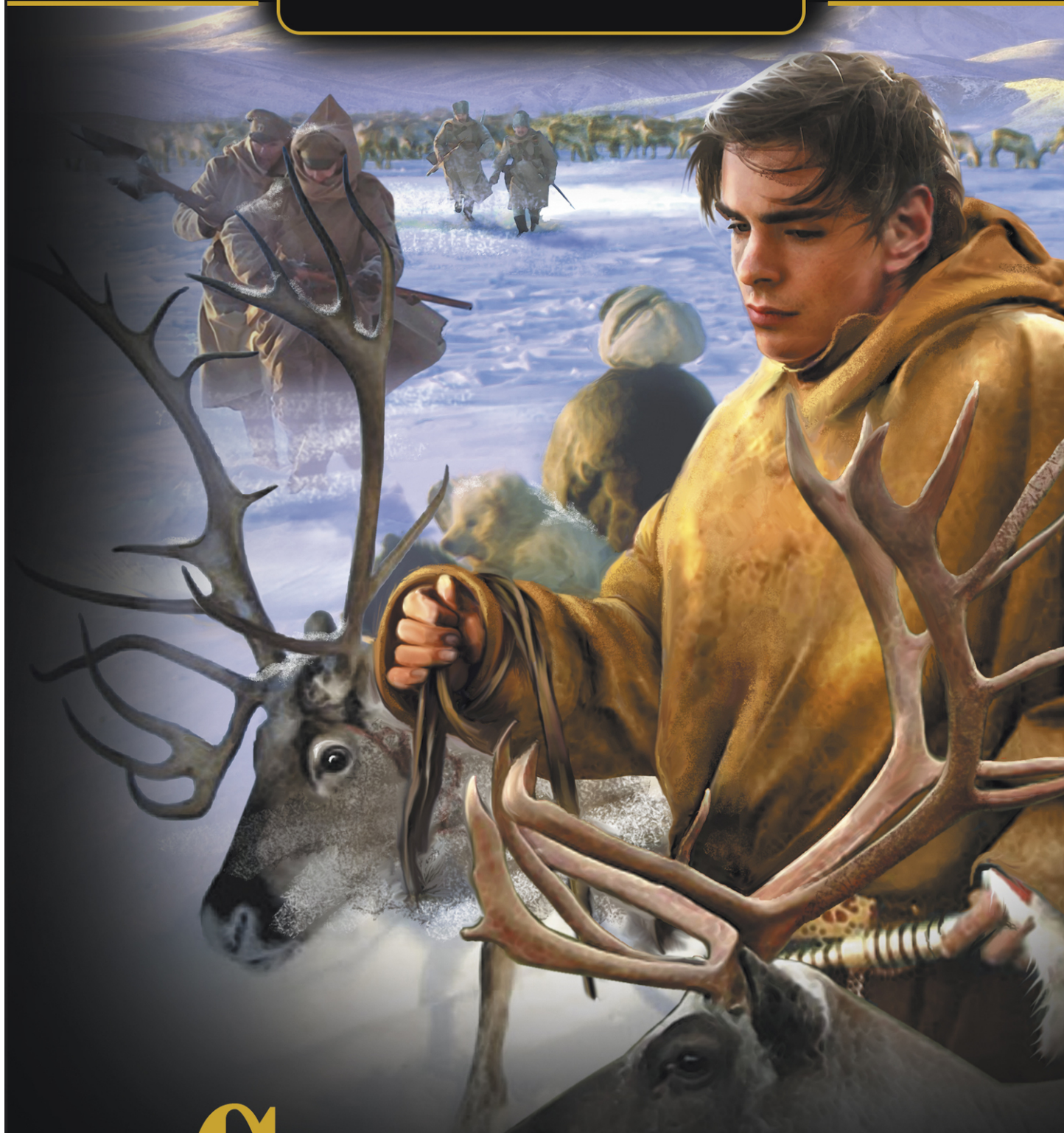


СИБИРСКИЙ
РОМАН



В. Тан-Богораз

Союз МОЛОДЫХ

Сибирский роман

Владимир Тан-Богораз

Союз молодых

«Торговый Дом Ленинград»

1930

ББК 84(2Рос=Рус)1

Тан-Богораз В. Г.

Союз молодых / В. Г. Тан-Богораз — «Торговый Дом Ленинград», 1930 — (Сибирский роман)

ISBN 978-5-516-00057-7

Действие романа «Союз молодых» происходит на реке Колыме в далеких поселках полярного русского племени. Писатель соединяет в нем два пласта: на воспоминания о своей молодости, которая прошла в северных ссылках, он наложил картины меняющегося после Октябрьской революции Колымского края. Главный герой романа Викентий Авилов, попав в гибельную ссылку на Колыму, сходится с девушкой из северного рода. Они переживают полярную идиллию в условиях жизни простой, тяжелой и трудовой. Но революция 1905 года заставила его бросить жену и ребенка и уехать в Россию. Вернулся он в северные края лишь через 15 лет... Что принесет ему встреча со взрослым, незнакомым ему сыном?

ББК 84(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-516-00057-7

© Тан-Богораз В. Г., 1930
© Торговый Дом Ленинград, 1930

Содержание

Предисловие	5
Часть первая	9
Часть вторая	27
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Владимир Тан-Богораз

Союз молодых

Предисловие

Действие романа происходит на реке Колыме в далеких поселках полярного русского племени, где жители сами о себе заявляют своим странным сладкоязычным говорком: «Какие мы йуские (русские)? Мы так себе, койимский найод (колымский народ)».

Полярная Русь разбросана обрывками и островками по устьям больших сибирских рек, от Оби до Анадыря. Обь и Енисей, Анабара и Лена, Яна, Индигирка, Алазея, Колыма, Анадырь, Пенжина, камчатские реки, Камчатка и Тигиль, и Большая и Белая – каждая река имеет свою собственную группу. Это потомки казаков-завоевателей, которые в несколько десятков лет прошли сквозь огромный край на поиск мехов, не менее ценных, чем лучшее золото Урала и Алтая. Они поднимались по рекам, «выгоняли» их по самую вершину, перетаскивали по волокам свои неуклюжие суда, выходили в океан на этих разляпистых *кочах*, сбитых деревянными гвоздями, с парусом из грубой реднины или просто из кожи, с тяжелым камнем вместо якоря, – постоянно терпели крушения, но двигались дальше. В походах своих они уничтожили целые народы своим острым железом и страшным огненным боем. Уцелевших мужчин забивали в аманаты (заложники), а женщин в наложницы.

В государственных актах сохранились казачьи отписки того времени сибирским воеводам и даже самому царю: «Было нас семнадцать человек. Пошли мы по реке и нашли на острожек, богатый и людный и сбруйный, и бились мы с теми людьми с утра и до вечера. И Бог нам помог. Мы тех иноземных людей побили до конца, а которых испленили и жен и детей також испленили, и острожек сожгли. И полонные люди поганским обычаем избегая того, чтоб отдаться под твою высокую государеву руку, покололи своих женок и детишек и сами побросались со скалы и убились до смерти».

В конце концов завоеватели и сами осели на реках, смешавшись с остатками рыболовных племен, стали ездить на собаках, одеваться в звериные шкуры и питаться без хлеба и без каши кормилицей-рыбкой, жирком и мясом.

Часть их осталась казаками, но вместо прежней неукротимой воли полярные казаки попали в кабалу к исправнику и заседателю. Они скоро утратили прежнее морское уменье и уже в начале XVIII века пишут воеводам в обычных отписках: «Суда наши малы и парусы слабы, а делать большие суда, как отцы наши, мы не умеем».

Должно быть, в связи с этим полярная Русь утратила воинскую силу и в дальнейшем наступлении на чукчей потерпела поражение.

Русские смешались на Севере с рыболовами, жившими оседло. С кочевыми оленеводами и бродячими охотниками они не могли соединиться, ибо выше всех благ материальной культуры ценили оседлое хозяйство и теплую избу и баню. Чукотские кочевники, напротив, сами себя называют «неумытым народом».

С течением времени другие рыболовные роды переняли от русских язык и обычаи и смешались с ними. Колымская Русь, например, включает четыре амотских юкагирских рода и один якутский род. Эта странная смесь говорит на старинном северно-русском наречии и палку, например, называет «жезлом», а луг – «пажитью». Они разыгрывают на зимних посиделках русские подблюдные песенные игры, водят ночные хороводы между четырех стен при свете плошки, налитой рыбьим жиром, выпевают Киевские старины о Владимире Красном Солнышке и его богатырях.

С другой стороны, русские усвоили на Севере психологию местных туземцев, панический страх перед начальством и каждым чиновником, приехавшим с юга, даже перед ссыльным уголовным поселенцем, жестоким и наглым, готовым всегда на грабеж и даже на убийство.

В хозяйственном отношении русские рыболовы ниже полудиких кочевников, чукотских и коряцких, и каждую весну, во время обычного голода, добывают от них добавочное пропитание и правдой, и неправдой.

В то же время русские являлись на Севере проводниками случайных обрывков культуры, все же заносимых с далекого юга, а главное, посредниками при торговле. Из Якутска и даже из Иркутска туда постоянно наезжали купцы и торговые приказчики с чаем и табаком, с сахаром и ситцем, железом и алым сукном выменивать у жителей пушнину, пыжиков и белок, лисиц и песцов и замшу и медвежину. Ежегодные ярмарки в диких северных пустынях делали большие сотысячные обороты. Русские «людишки», «казачишки» и прочие «молодые люди» тоже пользовались. Скупали у чукчей и тунгусов что было подешевле и поплоче и перепродавали купцам. Но очень скоро и здесь произошло расслоение. Выделились местные группы зажиточных торговцев, а остальное население попало к ним в плен, в беспросветную крепость, хуже чем бродячие охотники, которые всегда могут убежать в тайгу или на тундру. Оседлому рыболову бежать было некуда.

В довершение всего с половины XIX века северо-восточная торговля стала падать. Раньше на Колымские и Анадырские ярмарки попадала пушнина с Берингова моря и даже из Аляски. Пышные речные бобры и куницы и мыши (сурковые) меха приходили из Америки, но потом, наоборот, азиатские меха стали уходить в Америку, скупаемые китоловами и торговцами шхунами с Аляски, и на долю Колымы стало доставаться немного. Русские совсем разорились. Торговые чукчи привозили на Колыму американские ружья и жевательный табак и скупали пушнину даже у русских мещан.

Нужно, однако, сказать, что русская даровитость сказалась и на Севере, даже в культуре и промыслах, заимствованных у туземцев. Лучшие собаки и нарты на севере русские. Славится русская езда. Сети и невода, даже покрой меховой одежды, все это у русских высшего усовершенствованного сорта.

Большое значение имела на Севере политическая ссылка. На реке Колыме одно время собиралось до пятидесяти ссыльных из самых строптивых, неуступчивых, опасных, которых ссылали по формуле департамента полиции: «В отдаленнейшие места Восточной Сибири», куда ворон костей не заносит, где бабы втыкают свои прялки прямо в нависшее небо. На деле на Севере нечего прясть, а бабы не имеют прялок.

Мне самому в департаменте полиции сказали при отправке: «На десять лет в Колымское царство. Это вам первый задаток. Там тоже несолоно хлебают». Действительно, потом пришлось нередко хлебать без соли, без крупы.

Жизнь политических ссыльных на реке Колыме я изобразил в своих «Колымских рассказах», которые раньше, при старом режиме, я назвал «Пропадинскими рассказами», и самый Колымск наименовал городком Пропадинском. Потом, после революции 1905 года, когда можно было говорить прямее, я восстановил из неизвестного Пропадинска реальный Колымск.

Также и новый роман из эпохи революции на Севере я отнес, естественно, к Колымскому краю, в котором я провел свою молодость и который до сих пор мне снится порою по ночам так ярко, незабвенно.

Меня натолкнули на этот роман сведения, собранные мною, письменно и лично, от очевидцев и участников этих напряженных и малоизвестных событий. Ряд ценных указаний я получил от студента-этнографа Н. И. Спиридонова, родом колымского юкагира, который принимал участие в колымском комсомоле и в войне против белых, потом отправился учиться в Ленинград, ехал больше года, учился в Ленинграде два года, а ныне отправился обратно на родную Колыму не менее трудным морским рейсом через Берингов пролив – спасать своих

юкагиров от конечной гибели и стараться приобщить их, хоть отчасти, к новейшей советской культуре.

События колымской революции пропитаны жутью и кровью. Достаточно сказать, что описанный в романе эпизод, как белые построили ограду из трупов партизанов, раздетых донага и замороженных, как мрамор, действительно имел место со всеми безобразными и странными подробностями.

Однако в дальнейшем развитие сюжета увлекло меня дальше колымских событий и фактов, и, таким образом, в конце концов, мне пришлось поставить в заголовке просто: «Роман из северной жизни», умолчав о реке Колыме. Такая эпопея, как наша революция, глубоко национальная и широко мировая, не может быть привязана к цепи действительных фактов, совершившихся в тесном углу огромного русского края. Ибо описание ее должно развернуться с таким же огромным размахом, логически необходимым, эпически вполне неизбежным, историческим и вместе пророческим, связующим прошедшее с грядущим через молнию текущего момента.

Надо сказать несколько слов о сюжете.

Роман «Союз молодых» связан из трех рассказов, обнимающих время обеих революций. Начало его относится к 1905 году, продолжение к февралю и октябрю 1917 года, а конец к наступлению последних пепеляевских отрядов на реку Колыму в 1921/22 годах.

Содержание романа простое: юноша, ссыльный эсер-максималист, Викентий Авилов, попав на реку Колыму, сходится с девушкой из северного рода. Они переживают полярную идиллию в условиях жизни простой, трудовой и здоровой. Но пришла революция 1905 г., амнистия («отпустили... зовут» – как указано в тексте). Авилов бросает жену и ребенка и едет на зов революции.

Это первый вступительный рассказ – *«Ружейная Дука»*.

Второй рассказ описывает жизнь и развитие молодого *«Викеша Казачонка»* – как он пережил войну, а потом революцию, разруху, голод, просветление и комсомол – особый комсомол, арктический, по типу натурального хозяйства.

Третий рассказ посвящен *«Полковнику Авилову»*, который преобразился из бывшего ссыльного Авилова. Он является на Колыму во главе пепеляевского отряда и проходит «огнем и мечом» по северным поселкам и стойбищам. Навстречу подходит отряд партизан из Нижнего Колымска под начальством комсомольца Викеша-Казачонка. Кончается рассказ трагической встречей сына с отцом, поединком и гибелью Авилова. Это Тарас Бульба наизнанку, Рустем и Зораб из *«Шах-Наме»* навыворот – вместо суда отца над сыном, суд сына над отцом.

В наше безумное время, когда яйца учат курицу, даже еще не проклюнувшись, и китайские цыплята, например, обещают научить вежливому обращению английских индюков, пора пересмотреть и изменить традиционную развязку семейной трагедии: разгневанный отец карает преступного сына. Еще у Лермонтова *«Дума»* о двух поколениях кончается:

Насмешкой горькою обманутого сына
над промотавшимся отцом...

Революция нам показала, как обманутые дети покарали промотавшихся и преступных отцов.

Беллетристу такой поворот старинной постановки сюжета представляется заманчивым. Бабель использовал его в одном из своих рассказов, но как-то мимоходом. Я положил его в основу моего романа-трилогии.

Есть, однако, в этой северной трагедии другое содержание. Юноша, чистый душой и телом, сходится в вольных условиях с девушкой, чистой и ясной, как он сам, и строит семью. Потом под влиянием высшего порыва ломает эту стройку и уходит на свободу. Его увлекает

борьба, самое высшее и дорогое, что есть у человека. Но сзади остались две брошенных жизни – и это не прощается. Бесследно обидеть нельзя никого, хотя бы уехав за десять тысяч верст, – ибо обидчик унесет с собою жало собственной обиды.

Слезы и проклятия покинутой семьи настигают Авилова. Из ссыльного Авилова он становится полковником Авиловым, командиром пепеляевцев, врагом и добычей собственного сына.

Вывод: «Коготок завяз – всей птичке пропасть».

Много на свете обиды и зла, но даже малейшее зло не проходит без отмщения.

Я написал первый рассказ в 1914 году, на самом пороге войны, и долго не печатал, даже не хотел напечатать, ибо в своем первоначальном виде то был рассказ без продолжения и без внутреннего смысла. Мы ведь не знали вначале, какое продолжение дадут судьба и история нашей короткой передышке между двух революций, и чем кончится амнистия 1905 г. и как конституция станет погромом, а потом революция «эксом», и затянется волынка на девять лет, и вспыхнет война и подземный провал, извержение вулкана – РЕВОЛЮЦИЯ со всех заглавных букв, и как террористы станут «контрами». От «экса» до «контры» – какое изменение пределов...

В то время мы этого не знали и даже у самого завязанного фантаста не хватило бы воображения, чтобы предвидеть простую действительность.

На что не хватило фантазии, то стало обыденной прозой. Среди наступивших чудес мы живем по-прежнему бездумно и легко, как мыши после ливня, обсохшие на солнце.

Также и рассказ мой, прерванный германской шрапнелью и засыпанный золою февраля и огненным пеплом октября, теперь наконец просветлел, отстоялся и мог получить продолжение. В нем я хочу показать читателю, как это «экссы» сделались «контрами» и то, что считалось за подвиг, стало преступлением, а то, что казалось преступлением, вылилось в подвиг.

Вторую половину моей маленькой трилогии писал не я сам, а ее написала революция.

После первой главы о матери, покинутой и бедной, она написала вторую главу о выросшем мстителе-сыне и третью главу о преступном отце, который из двигателя жизни сделался тормозом жизни.

Кто знает, сколько новых глав она еще припишет.

Тан

Часть первая Ружейная Дука

I

Имя ей было *Дука*, вместо российского *Дунька*. Так же точно выходит *Ли́ка* из *Лизки* и *Нака* из *Настъки*. Волосы у Дуки были черные, прямые, как конская грива, а глаза голубые с наружным углом, приподнятые кверху по-якутски, и это придавало ее лицу особую дикую яркость. В жилах ее смешалась различная кровь: славянская, якутская, юкагирская и еще бог знает какая. Впрочем, сама себя она называла «юсанкой» (русанкой), на странном наречии севера, картавом и сладком, похожем на лепет отсталых детей и на шелест птичьих крыльев в тихом полуночном блеске незаходящего солнца.

И когда она плавно спускалась по широкой реке Колыме в своем игрушечном *стружке*, челноке, долбленном из осины, она любила петь «досельные» русские песни высоким и тонким голосом, дрожащим, как звон тетивы напряженного лука, особенно песню о «Голубе со голубицею»:

Они крылушками да обнимаются,
Они ноженками да оплетаются,
Сахарными устами тут целуются.

Дука никогда не видала ни голубя, ни голубицы. И они представлялись ей странными и фантастическими птицами с человеческим лицом, с необузданной жадой любви, какая сжигает всю молодежь на северном море в бессонные яркие ночи короткого лета.

Ружейная Дука, однако, чуждалась любви, и ни один молодой казачонок не мог бы похватать, что он развязал вокруг ее крепкого стана сокровенный внутренний пояс. Этот развязанный пояс считается символом сдачи, и по старому обычаю каждая девка защищает его и ногтями, и зубами, сколько может или сколько хочет...

Ружейная Дука обладала неженской силой и в прошлое лето схватила Алешку Лебеденка за дерзкие руки и сбросила его прямо с обрыва в глубокую воду. Алешка выплыл на берег, но после того другие не смели подступаться. Самые упорные все-таки вздыхали на почтительном расстоянии и сквозь зубы напевали:

Ай Дука, Дукашок,
Дука – сахарный душок.

Дука родилась на рыбачьей заимке Веселой, в избушке, заметенной снегом, пред деревянным очагом, обмазанным серою глиной. Ярко пылали стволы «плавника»¹, и оконная льдина голубела и плакала прозрачными слезами. Вместо холщовых простынь красное тельце малютки, по местному обычаю, упало на «родильную травку», и русская шаманка Анисья Однобокая обтерла его пучком «гусяного сена» и вынесла за двери и окунула в режущий белый сугроб. При этом она приговаривала шепотом:

Дедушко, медведушко,

¹ Сплавной лес, принесенный течением.

на тебе свежинку,
дай мне снежинку...

Это был русский перевод старинной тунгусской молитвы лесному медвежьему духу.

После того тело новорожденной Дуки закалилось и стало нечувствительным к зимнему холоду и осенней простуде.

Дуда росла на реке и питалась свежей, «трепучею» рыбкой, святою едушкой. Когда ей еще не исполнилось года, в соску ее вместо размятого хлеба закладывали жирную юколу, сушеную из нельмы, деблою и плотной. Ржаная мука на реке Колыме стоит по полтиннику за фунт. Зато колымская юкола, если бы ее вывезти в Питер, могла бы продаваться у де Гурмэ, хотя бы по целковому за штуку, в качестве деликатеса. Когда подрастающая Дука встала на крепкие ножки, обутые в тюленью кожу, она бегала по берегу вслед за сплавляемым неводом, как голодная чайка, и вместе с другими ребятами подхватывала рыбную мелочь. Дети поедали рыбешку на месте сырым и живьем, трепетавшую в зубах.

Десяти лет вместе с мальчишками Дука садилась в челнок и скиталась по заводям, отыскивая линялую птицу. С непостижимым искусством она метала с навесной доски длинную «шатино», острогу, которая ныряла в воду, как проворная щука, разгоняя гусиное стадо, и нанизывала шею за шейю на свою растопыренную вилку.

С двенадцати лет Дука ходила по ближним лесам на поиски белок. На тоненьких лыжах, обшитых оленьей шкурой, с луком за плечами, она перебежала от дерева к дереву, как будто лисица, и пускала свои острозубые стрелы в косматые верхушки, наеженные жесткой хвоею. Лук был казачий, старинного дела, он достался Дуке по наследству от бабкина брата, Макара Щербатых. С этим луком Макар, бывало, выходил на казенные парады. Ибо еще в половине XIX века колымские казаки выходили на парады по старинному реестру: «четные с луком, нечетные с пищалью».

Пищаль тоже висела на стенке у Щербатых, крепкая, с игрушечным ложем, в серебряных насечках, с полкой для пороху, кремнем и огнистым кресалом, но не было мужской руки, чтобы огласить окрестные пустыни ее отрывистым шелканьем, ибо семья Щербатых была «женская выть»² от «девичьего корня», старая девка Натаха и ее четыре дочки, девчонки-погодки. Их звали на Веселой «Щербатые Девки», в отличие от других Щербатых-Носачевых и еще от Щербатых-Гагар, и звали еще «Наташонки» по матери Натахе. Оттого-то у Дуки не было ни отца, ни деда, а только дядя по матери да бабкин брат. В колымских рыбацких поселках немало найдется точно таких же семейств от женского корня. Иные так и протянулись от бабки к прабабке по женским линиям, внебрачным, безотцовским. По старому поверью, когда отыщется семья из шести таких звеньев, то от шестой безмужней матери родится антихрист. Впрочем, у Натахи Щербатых не было не только антихриста, но даже простого казачонка, чтобы получать из казны мучной паек и денежную выдачу, которою держалось на севере немудрое хозяйство этих странных казаков бесконного полка, приписанных в то время к министерству внутренних дел в виде вечных рассыльных, всеобщих вестовых, часовых, денщиков и бесплатной охраны.

Весной на заимке Веселой начинался голод, привычный и потому нестрашный. Месяц апрель – подведи животы, – надо терпеть поневоле. Жители ту же затягивали пояса на брюхе, сметали последние крошки в рыбном амбаре, разваривали прелые кости, назначенные в пищу собакам, доставали из ям прогорклую «черную рыбу», пахнущую плесенью и трупом, и ждали половодья, гусиного лета и рыбьего хода.

Но пуще всего голодали Щербатые Девки, безотцовская выть. Натахины дочки росли, как будто на опаре, и были жаднее налимов, ненасытные гагар, которые до того объедаются, что засыпают на воде с рыбьим хвостом, торчащим из глотки.

² Выть – семья, род.

Девки обдирали с окошек сушеный пузырь, доставали из мешков еще не копченную замшу, назначенную для продажи, и разваривали ее в кипятке вместо супа. Иной раз они злыми глазами поглядывали друг на друга, готовые в случае нужды дойти до людоедства.

Однажды в такую голодную пору Щербатая Дука сделалась Дукой Ружейной. Ибо она сняла со стенки родовую пищаль, подвязала широкие лыжи и ушла на Павдинские горы в березовый лес, а через три дня вернулась и принесла за плечом сохачиную губу, похожую на старую калошу, и пару увесистых почек, облепленных жиром. Сорок пудов вытянул сохатый, когда его вывезли с гор на лучшей упряжке собак, подобранной в целой заимке. Весельчаны кормились до самой весенней добычи и даже отцу Тимофею в Середний Городок послали язык и полбока. После того Щербатую Дуку прозвали Дукой Ружейной.

II

Дука плыла по широкой реке в тополевой лодке, сшитой тальничными (ивовыми) корнями и сбитой березовыми гвоздями без единого атома железа. С ней были две маленькие сестренки, Чичирка и Липка. Они спускались вниз по воде, сплавляя за лодкою невод. Он растянулся на 100 сажений и шел столбом поперек реки, слегка загибаясь по течению; поплавки из березовой коры чуть трепетали и играли, там, где проворные омули «ячеились в полотнище», застревали своими вертлявыми головками в нитяных петлях сетей.

Дука сидела на носу и слабо шевелила длинными веслами, словно бесперыми крыльями, выравнивая лодку. Это была летняя речная идиллия, забава и промысел вместе. Речная ширина на юге и на севере застыла, как жидкое зеркало. Огромное красное солнце чертило в небесах бесконечную спираль, спускаясь к западу и снова восходя к востоку.

Неожиданно Дука привстала на скамье и приставила руку к глазам.

– Сверху идут, – сказала она, указывая на черную точку, мелькнувшую вдали.

– Русь едет, – прибавила она, присматриваясь внимательнее.

Черная точка выросла и превратилась сперва в лодочку, потом в лодку, потом в паузок, широкий и грузный, похожий на лохань. Над паузком сверху повисло полотно безжизненного паруса, почти не помогавшего течению.

На паузке ехала «Русь», «Мудреная Русь», как называют ее на роке Колыме. То были пришельцы с далекого запада, из «города Российска», туманного и странного, как будто загробное царство. Их присылали десятками, потом увозили обратно и на место их присылали других. Были они молодые, но все в бородах.

«Мохнатые, как будто старики», – говорили о них колымские девки с лукавой усмешкой...

Они привозили с собой всякие редкие штуки, сахар в головах и чай в цибуках, а книг столько, что хватило бы на десяток церквей, и шамана в трубе, который и божится, и плачет, и поет³, умели налеплять на бумагу человеческую тень⁴. Звали их «государственные люди». Из самого царского места они получали «государственные письма» на орленных листах⁵. Этими письмами были обклеены стены домов во всем Середнем Городке, и каждое было такое, что целую зиму читай, до конца не прочитаешь.

Колымские девки влюбленными глазами глядели на этих чужих молодцов. Но они только крутили головами, как медведи, и грудились вместе и спорили о чем-то, словно бранились, – вот-вот подерутся, – но никогда не дрались...

– Девки, собирайте, – поспешно сказала Дука, принимаясь за весла.

³ Граммофон.

⁴ Фотография.

⁵ Газета, в частности, «Правительственный вестник» с орлами на страницах.

Повинуясь приказу, Чичирка и Липка встали в носу и принялись выбирать в лодку тугие веревки тетив, поминутно вынимая из ячей вертлявую полосу живого серебра.

Тук, тук, тук! – прыгали омули в лодке. Паузок пристал к «домашнему берегу» заимки одновременно с лодкой Щербатых. С разных тоней, островных и заречных, тоже тянулись лодки, направляясь к поселку. «Русь» ехала из города и, наверное, везла и новости, и всякие припасы.

Приезжие укрепили на кольях свое неуклюжее судно и вышли на берег. Первым ступил на песок юноша высокого роста, в куртке, в рубахе из замши, но вовсе без шапки, с волнистой русой гривой.

– С приездом, – сказал Митрофан Кузаков, – «Куропашка» – лохматый и белый, как старая береза, поросшая мохом.

На берегу уже толпилось все наличное население – старухи, старики, ребятишки. И в задних рядах раздалось, сперва несмело, потом громче, настойчивее: «Табаку, табаку!..»

Полярному жителю курево, кажется, важнее, чем пища, особенно летом. По местной поговорке: «трубка не знает стыда». В случае нужды можно попросить на затяжку у самого исправника... Митрофан Куропашка быстро закивал головой:

– Все искурили, кисеты искрошили, скобленое дерево палили, до горечи дожглись!..

Он говорил торопливо и резко, как будто с наскоку, и у него выходило совсем как у белой куропатки: «Ка-беу, кабеу!..»

– Дай лемешину... силимчик... прошки понюхать... – просили то справа, то слева, уже не стесняясь.

Лемешина кладется за губу для жвачки, *силим* набивается в трубку, а *прошка* в нос. Поречане истребляют табак, как только возможно и сколько возможно.

Высокий без шапки достал из-за пазухи косматую папушу табаку и щедрой рукой стал раздавать подходящим широкие и бурые листья.

– Пожалуйте, гости дорогие! – сказала жена Митрофана, Маланья, кланяясь в пояс. – Чем бог послал... Милости просим...

Ненарушимый обычай требует устроить для приезжего, для гостя, торжественный пир, отдать ему последний кусок, даже в голодное время.

– Для гостя украсти не грэх, – говорят поречане реки Колымы, не хуже арабов.

Высокий без шапки неспешными шагами стал подниматься на гору к жилью. Дука смотрела ему вслед внимательно и любопытно. Он был выше головой не только поречан, но даже и собственных товарищей, шагавших сзади растянутой кучкой, выше, пожалуй, всего населения на реке Колыме и в целом округе, величиною в три германские империи, сложенные вместе. Каблуки его русских сапог, подбитые железом, оставляли на глине следы, как круглые копыта, но длинные ноги его шагали осторожно и упруго, как будто на пружинах.

«Ровно сохатый в лесу», – подумала Дука. Ибо сохатый тоже отличается проворством и умеет протиснуться даже сквозь двойную березу, растущую парой стволов из общего корня.

Губы у него были крепко сжатые, словно каменные, и русая борода завивалась на щеках, как шерстка у оленьего теленка-кудряша.

Он показался простодушной поречанке существом какой-то нездешней породы, «осилком» из старой былины.

«За руку схватит, рука прочь, за ногу схватит, нога прочь», – прозвенели беззвучно в ее певучей памяти «проголосные» тягучие слова.

И, будто привлекаемый взглядами Дуки, «осилок» повернул голову и посмотрел на нее сурово и спокойно из-под сдвинутых бровей.

После угощения русские пришельцы в том же порядке вышли из приветливого дома Митрофана Куропашки и направились к берегу Высокий без шапки на этот раз шел сзади, но, вместо того чтобы спуститься на берег, он свернул направо вдоль по угорью, у самого края

домашней площадки поселка. «Викентий, иди!» – окликнул его один из товарищей, низенький, крепкий и круглый, с бронзовой кожей и медной густой бородой, словно весь он был отлит из яркого металла.

Викентий не ответил. Приезжие перешли на паузок и стали отвязывать канаты и готовить отвальные шесты.

– Авилов, ого! – еще раз окликнул другой из артели, смуглый, бородатый, с мощной осанкой, похожий на картинку из Ветхого Завета. – Идите, уезжаем!..

– Счастливой дороги, – ответил Викентий Авилов, и голос его поплыл, как колокол, над сонной рекой.

Речная артель отвалила. Паузок со скрипом и скрежетом снялся с причала и выплыл на вольную воду.

III

День и другой прожил Викентий Авилов на заимке Веселой, изумляя простодушных поречан своею огромной фигурой и невиданной силой. В первый же вечер, когда воротились с заречных песков лодки, груженные рыбой, он спустился к берегу вместе с другими, подошел к самой большой лодке, взялся, потянул... Раздался треск тополевого дерева.

– Кор, кор (берегись)! – закричали в испуге рыбаки по-якутски.

Они опасались, что в этих могучих руках утлая лодка расколется надвое, как скорлупа яйца.

Авилов посмотрел на кричавших, потом не торопясь, как делал все, подобрал с земли пару деревянных обрубков, коротких и круглых, и положил их под лодку Перекатывая эти катки все выше и выше, он один вытащил лодку на берег вместе с грузом. Рыбаки шли сзади, опустив руки от изумления.

На следующее утро Авилов отправился в лес и к вечеру стал выносить из непроходимой чащи очищенные бревна, правда не толстые, но все-таки такие, что впору увезти на лошади, и то зимою, ибо колымские леса не знают колес и летней перевозки. Через пять дней такого лошадиного труда с краю заимки Веселой выросли бревенчатые стены в рост человека. Работал Авилов по-прежнему не торопясь, но очень аккуратно, забивал мхом пазы и замазывал их глиной снаружи и внутри. А крышу накладывать не стал, только затянул потолок над избушкой синим холстом, который достался ему от товарищей с паузка. Ибо они выгрузили для него в ближайшем поселке и сахар, и холст, и табак, и всякие другие товары.

В странной избушке, покрытой холстом, завелись большие богатства, конечно, на колымскую мерку. Авилов раздавал не считая. Избушка, покрытая холстом, стала как будто бакалейной лавкой для соседских детей. А сам он не брал у других ничего, даже обеда. Он завел себе сеть и просто толкал ее с берега в воду на длинном шесте. Того, что попадалось, хватало на еду. Рыбу он пек на углях. Вся жизнь его приблизилась к природе и стала первобытнее и проще, чем даже у Яшки Худого, самого бедного жителя на заимке Веселой. Только в одном отношении он уклонялся от голоса природы, замыкаясь в неприступном одиночестве и суровом молчании.

Весельчанские девки качали головой и потихоньку злились. По старому обычаю, для местных девиц считается обидой, ежели парень, пришелец из соседнего поселка, живет одиноко и не глядит ни на одну. Но тут был человек особенный, чужой. Как приступить к такому?.. Отчаянная Дашка Кузакова, прозванная Сардонкой (щукой) за свою ненасытность, прибегала к нему в солнечную полночь просить табаку на лемешину, а потом не утерпела, села на кровать и сказала: «Ни за что не уйду».

Он молча и спокойно взял ее на руки, вынес за дверь и поставил на землю.

Однако своими серыми зоркими глазами Викентий Авилов внимательно рассматривал всех молодых девиц заимки Веселой. Но ни одна из них не была ему по нраву. Ибо все они жили по местной пословице: «Баба не калач, один не съешь». Нравы у них были спокойно-бесстыдные, как у оленей на тундре. Только одна держалась в стороне, не подходила, не заговаривала и даже не желала получать своей доли из тех заманчивых товаров, которые считались как бы общественным достоянием заимки Веселой.

– Чья это девка? – спросил он однажды у Дашки Сардонки, к которой он сохранил после ее неудачной атаки все-таки дружественные чувства.

И Дашка ухмыльнулась и сказала:

– Это – дикоплешая (полоумная) Дука, щелкает стрелкам по белкам, а рукам по щекам... Дуку и лешие боятся...

Однажды в безветренный вечер, когда солнце спустилось и повисло над заречными лесами и словно задумалось, спуститься ли еще ниже или уже подниматься, Викентий Авилов стоял на пригорке перед своей избушкой и любовался на яркую полночь. Сутки кончались и вновь начинались. Воздух был насыщен золотом, бледным, волнистым, словно разбрызганным в пространстве. Солнце было огромное, как круглая гора, и на него можно было смотреть простыми глазами, и, если долго смотреть, гора превращалась в провал, в круглый колодезь текучего алого света.

Солнце подвинулось к утру, но многие все еще не спали. В летнее время на севере живут беспорядочно и с трудом разбираются, где кончается *вчера* и где начинается *завтра*. Птицы, привыкшие к более правильной жизни на юге, снялись с речных заводей и потянулись за тундренный берег на тихие болота. Чета лебедей низко протянула над самыми домами поселка. Они летели важно и прямо, как связанные вместе невидимой нитью; их серебристые перья были словно позолочены жидким сиянием солнца.

И вдруг из-за груды плавника, собранной с берега подростками и бабами на общее зимнее топливо и высокой, как дом, мелькнули две смуглые руки в петле напряженного лука, похожей на заглавное *D*; щелкнула, запела тетива, и лебедь словно подскочил на лету, опустил обессиленные крылья и рухнул на землю. Можно было видеть, как тоненькая стрелка дрожит в его шее, похожей на белую змею.

Ружейная Дука с резким и радостным криком выскочила из-за прикрытия. С луком, протянутым кверху в упоении победы, высокая и сильная, она показала Викентию какой-то бессмертной охотнице Дианой с реки Колымы. Другой лебедь, однако, не свернул и не поднялся в высоту. Он пролетал над домами так же торжественно, прямо, с распластанными крыльями. Он был теперь как раз над головой Викентия Авилова. И вдруг, повинувшись мгновенному побуждению, юноша выхватил из кармана браунинг и выстрелил вверх. Лебедь, пораженный в голову, шлепнулся об землю, как тяжелый мешок.

– Го-гой! – крикнула Дука-охотница азартнее прежнего. Она подхватила свою пернатую добычу, перекинула через плечо, как мягкую сумку, и, придерживая ее за голову, стала быстро приближаться к Викентию Авилову. Он безотчетно нагнулся, подобрал свою птицу и тоже перекинул через плечо. Они стояли теперь друг перед другом в позах картинных и странных, как новые Адам и Ева охотничьего рая.

– Покажи, – спрашивала Дука с горячим любопытством, – чем же ты стрелял, винтовкой?.. – Какая она *мачеконькая*... – протянула она жалостно, разглядывая тонкий граненый клубок вороненой стали в руке Викентия. – То не винтовка, только ребенок винтовочный...

Несмотря на свою обычную важность, Викентий усмехнулся.

– И где ты стрелять научился, скажи, – настаивала Дука. – По чем у вас в «Российском» стреляют, по зверям, по оленям?

Викентий покачал головой.

– По птицам, по гусям? – настаивала Дука. – Что у вас в «Российском» живое?..

– По людям, – воскликнул Викентий сердито и неожиданно, и серые глаза его вспыхнули странным огнем...

– Грех! – протянула Дука с недоверчивым испугом, но лицо ее тотчас же просветлело.

– Звонишь⁶, обманываешь, – сказала она, качая головой, – а я, дура, слушаю... Разве можно стрелять по людям?..

– А разве нельзя? – бросил Викентий спокойно, как всегда. – Почему?

– Ну-ну, – ворчала успокоительно Дука. – Чать, люди – братья... Потому и нельзя...

– Братья?.. – переспросил, как эхо, Викентий.

– А как же? – настаивала Дука с важностью, – взять хоть у нас на Веселой. Все у нас братья да сестры, кои двухродные, а кои трехродные. И всего у нас два имени, Щербатые да Кузаковы.

Викентий не нашелся, что ответить. Мир Дуки был узок и мал, как лужайка в лесу, и все населявшие его были, действительно, братьями. Они цеплялись один за другого, как белки зимой в дупле, и могли сохранять искру живого тепла, только согревая друг друга, как живая и мягкая гроздь.

Дука тоже помолчала и посмотрела на российского пришельца весело и вместе нерешительно. Мысли ее теперь устремились к более близким предметам, чем охота в «Российском».

– Ты сильный? – спросила она наконец и без особых церемоний дотронулась пальцем до мускулов юноши, торчавших под замшей рукава, как упругие, ядра.

Викентий кивнул головой.

– А дерево вырвешь?..

Викентий молча ступил вперед, схватил молодую березку и внезапным усилием выдернул ее из земли вместе с корнями.

– Огой!..

Любознательный палец поречанки поднялся выше, чем прежде, и дотронулся до груди российского пришельца, белевшей из-под раскрытого ворота.

– Какая волосатая!.. – сказала она с детским любопытством. – Однако от этого сильный... Медведь волосатее того, а как высоко скачет, – прибавила она с очаровательным простодушием.

Викентий невольно рассмеялся.

– Мы и медведям заедем, – сказал он весело. Он чувствовал себя с Дукой удивительно просто. Словно ему было десять лет, а ей восемь, и они собирались играть в «охотника и зверя» на ближней лужайке за этой корявой избушкой.

С той ночи Ружейная Дука стала часто подходить к домику, покрытому холстом. Она забрасывала юношу вопросами об этом неведомом «Русском», «Российском», откуда в досельное время излился источник ее собственной крови.

– Что это, город большой?.. Больше Среднего, в три раза, в сто раз?..

И недоверчивым удивлением она встречала сообщение, что «Российск» – это вовсе не город, а огромная страна, сотни городов, тысячи селений, а в самых больших городах есть тысячи домов, а каждый дом в шесть рядов, как клетки в осином гнезде, и в одном только доме больше народу, чем на целой реке Колыме.

– Тысячи, тысячи тысяч, – звенело в ушах у наивной дикарки. Ей представлялись несметные толпы людские, кишашие на улицах, как толкун комаров, в шесть рядов, одни над другими, ибо места на всех не хватает.

– И достает на них рыбы, – спросила она с недоумением. – Где же это они все ловят?..

И Викентий в ответ пояснил, что все они питаются не рыбой, а хлебом...

– Хлебом, – с уважением переспросила русская дикарка. – Угу, какие богатые!..

⁶ Звонишь – лжешь.

Ибо на заимке Веселой и на всей Колыме хлеб был предметом недостижимой роскоши, доступной только на Святках и в весеннюю Пасху, и то для немногих.

Мысли ее опять перешли к другому предмету, более достойному внимания, чем хлеб или рыба.

– А девок у них много? Больше, должно быть, чем парней?

– Почему больше? – переспросил с удивлением Викентий.

– У нас видится больше, – простодушно объяснила Дука. – Мы вот четыре сестрички, а братца так нету. А какие у них девки, хорошие, должно быть? – сказала она и нахмурила брови. Викентий усмехнулся.

– Бывают худые, а бывают хорошие – такие, как ты...

И немного неожиданно для самого себя он протянул свою крепкую руку и положил на плечо Дуки Щербатых.

Но Дука отшатнулась, как уколотая, и сбросила прочь эту широкую ищущую руку.

– Не трогай! – крикнула она, и лицо ее залилось горячим румянцем гнева и вместе стыда. – Ступай к своим хорошим... – На следующий вечер она не приходила и даже не явилась поутру. Викентий прошел по тропинке мимо избушки Щербатых и наткнулся на Дашу.

– Ищешь? – спросила она игриво и сердито. – Победа твоя уехала на Чиркинскую косу. До утра не вернется... А я разве хуже? – спросила она с задорной улыбкой. – Я сладкая, – прибавила она просто и даже по-своему скромно.

– Хуже, – угрюмо ответил Викентий и повернул к своему дому.

IV

Два дня и две ночи Дука не являлась у заимки на домашнем берегу. Викентий все заглядывался вдаль на широкую воду, не гребет ли с заречного берега знакомая черная лодка. Лодки приходили, но не такие, как надо.

На третий день около полудня вместо одной лодки вдали показались четыре. Они были странного вида, и на каждом носу неясно мелькали такие-то особенные мачты, кривые, с ветвями.

– Сохатые плывут! – раздался волнующий клич.

То была семья лосей, переплывающих реку. Ветвистые мачты были попросту высокие головы зверей, увенчанные ветвистыми рогами. Такие переправы через реку случаются нередко, порою у самых поселков. Когда нападает комар или овод, полуослепленные звери готовы вскочить в охотничий костер или забежать в избу.

Поселок загудел, как потревоженный улей.

– Сохатые, мясо!..

В летнее время все поречане питаются рыбой, но мечтают о мясе чувственно и страстно, порою почти до истерики. Ибо жирная рыба приедается даже собакам.

Люди сходили с ума от азарта. Ведь это была добыча с горячей кровью, мясистая, живая, какая зажигает охотничий пыл у самых ленивых и старых. И, по старой примете, выпустить ее из рук – значило выпустить счастье и на целое лето привлечь на поселок охотничий *урос* (неудачу)...

Старики и подростки, все, кто только имел руки, чтобы взяться за весло, посыпались с горки на берег. Лодки, челноки, душегубки отчаливали одни за другими на широкую вольную воду. Женщины, дети, собаки бежали по берегу с криком.

Увлекаемый общим движением, Викентий Авилов тоже сбежал к берегу, но все челноки и легкие «неводные» лодки были разобраны. Недолго думая, он сбросил куртку, столкнул в воду большую «кочевную» лодку, назначенную для перевозки груза, сел «в гребни» и поехал наперерез к рогатой добыче. Он греб «по-русски», широкими, редкими взмахами, в отли-

чие от местного приема «мельницей», частой и мелкой, с каждым взмахом «сушил» весла и снова налегал с удвоенной силой. Трещали уключины, подозрительно скрипели жидкие набои, сшитые лозой, но лодка «бежала прогоном», прямо, как по шнуру, поминутно выскакивая носом из воды не хуже плывущего лося. И мало-помалу Викентий Авилов стал обгонять весельчанских гребцов в их легких челноках. Они смотрели на него с удивлением и даже со страхом. Длинные кочевные гребни в руках Викентия Авилова стали рычагами совсем необъятных размеров, и другие поневоле сторонились от него, как сторонятся мелкие шхуны от черного большого парохода.

Головы сохатых выступали над водою яснее и яснее. Они казались на воде неестественно большими, и ветви рогов были как сучья деревьев, унесенных вниз половодьем. Звери беспокойно поводили горящими глазами. Они вздрогнули, остановились, заметив наконец флотилию судов, наезжавших от берега.

Но самые проворные охотники в легчайших челноках уже описали огромный полукруг и теперь заезжали с тыла, с заречной стороны. От острова Косого, с Чиркинской тони, тоже выплыли трое в узких душегубках, из тоненьких досок, не толще бумажного картона. Такие душегубки называются «ветками». Они сшиваются волосом из трех длинных досок и весят не более пуда. Лоси нерешительно остановились в середине струи, не зная, что делать. Челноки налетели, как осы. Длинные изогнутые весла с двойными лопастями были вооружены тоненьким железным кодайцем, похожим на жало, и охотники могли тем же взмахом гребнуть и нанести удар. Впереди всех, в узенькой «ветке», похожей на длинную коробку, мчалась Ружейная Дука. Черные волосы ее выбились наружу из-под алого платка и висели по щекам направо и налево. Одна прядь, необычайно длинная, повисла через борт и с каждым движением «ветки» погружалась в рассекаемые волны.

– Агай, агай! – вырывался из звонкого горла старинный охотничий клич, усвоенный русскими, должно быть, от чуванцев.

Викентий тоже подъехал вместе с заречными. Он выбрал себе самого крупного лося, схватился за карман и тут только заметил, что оставил кожаную куртку на берегу вместе с оружием. При нем не было даже ножа, хотя бы перочинного. Он вскрикнул от досады, глаза его гневно блеснули, и плавным ударом своих длинных гребей он разогнал «кочевную» и наехал огромному зверю прямо на спину. Зверь, беспомощный в быстро текущей воде, погрузился под воду, потом вынырнул и стал поворачивать в сторону, фыркая и отдуваясь. Но дерзкий охотник протянул свои длинные руки и схватил огромную добычу за широкие рога. Лось даже не отбивался, быть может, он чувствовал силу клещей, нажимавших на голову сверху. И так они поплыли вниз по воде, странно соединенные вместе, охотник и лодка и живая добыча, совершенно невредимая, но связанная быстро текущей ризой воды.

– А-ла-гай!..

Ружейная Дука черкнула левой лопастью весла по воде, скользнула вперед, как будто дно ее «ветки» было натерто маслом, а правой лопастью кольнула ближайшего лося под левую лопатку. Зверь захрипел и ткнулся головой в воду, потом опрокинулся набок. Мелькнуло беловатое брюхо, длинные ноги брыкнулись предсмертною судорогой, и одна из них задела за борт челнока бесстрашной охотницы.

Борт раскололся, как стенка у спичечной коробки, Дука выпустила весло и опрокинулась в воду, и тотчас же схватилась руками за потопленную «ветку», но «ветка», лежащая боком в воде, нырнула и ушла из-под рук.

– Солнце, потопаю! – крикнула Дука отчаянно и захлебнулась в холодной струе.

Русский поречанин поклоняется солнцу не меньше туземцев и в трудные минуты взывает к нему с языческой верой. Солнце – истинный бог холодного севера. Может быть, это старый славянский Ярило, привезенный из вятских лесов первыми поселщиками.

– Спасайте, православные! – крикнула Дука еще раз.

– Ио-о! – в ужасе взвыли другие охотники.

Ружейная Дука была как бы воплощением охотничьего пыла, Дианой заимки Веселой. Однако ни один не дерзнул приблизиться. Протянуть утопавшей хоть кончик весла из верткого «стружка» – значило очутиться тотчас же в воде вместе с нею.

Колымские жители купаются редко, а плавать совсем не умеют. И все-таки ездят в своих деревянных скорлупках и стараются не опрокидываться. Но каждая большая водяная охота уносит свою жертву.

– Дука, держись! – крикнул Викентий Авиллов, с треском поворачивая лодку и с силой налегая на свои неуклюжие весла.

– Ах!..

Правая уключина не выдержала и выскочила из гнезда вместе с ивовой дужкой весла.

Дука опять вынырнула, на этот раз спиной. Руки ее судорожно взбивали воду, ища за что бы ухватиться.

Викентий Авиллов в мгновение ока вскочил на ноги. Звякнули подковы сброшенных сапог, и тяжелое тело шлепнулось в воду, вздымая высокие брызги, как тело огромного сиуча, нырнувшего в море с утеса. Поречане смотрели на эту неожиданную сцену, затаив дыхание. Викентий вынырнул, отфыркнулся и поплыл, широко забирая саженьями по воде. Минута, и он очутился на месте катастрофы, поднялся по грудь над водой, увидев пунцовый платок, мелькнувший впереди, нырнул, ухватил... И вот он уже возвращается обратно, запустив свою руку в густую и мокрую косу и поддерживая голову утопленницы над уровнем воды. Еще через минуту он был у своей «кочевой», как-то особенно ловко перебросил Дуку через борт, поднялся на руках через корму, наскоро сделал на месте уключины петлю из обрывка волосяной веревки, вложил весло и погнал «кочевную» к берегу.

Охотники немного задержались на месте, посмотрели ему вслед, но не поплыли к берегу, а повернули вниз по реке ловить сохачинные туши. Ибо все четыре лося были все-таки заколоты, и туши их отнесло по течению вниз почти на полплеса.

Викентий вынес на берег бесчувственную девушку и отнес ее вверх на угорье. Мокрый след оставался за ним по дороге. Он снял с нее верхнюю кофту, потом повернул ее вниз головой, чтобы вытряхнуть проглоченную воду. После того он стал ее встряхивать на руках, как малого ребенка. От этих внезапных и резких движений мог бы проснуться не только обмерший утопленник, но даже настоящий покойник. Веки Дуки вздрогнули, руки судорожно сжались. «О!» – простонала она потихоньку. Викентий еще раз встряхнул ее тело, потом отнес ее под холщовую кровлю и уложил на шкурах. Он снял с нее мокрое платье и также развязал ее сокровенный пояс. За неимением простынь он завернул ее в свою собственную рубаху.

С того дня Ружейная Дука стала *очелинкой*, любовницей русского пришельца, Викентия Авиллова. Мать ничего не сказала, ибо он утверждал свое право на Дуку вдвойне: развязанным поясом и собственной рубахой. Впрочем, на третье утро Дука ушла из-под холщовой кровли в материнскую избу, да там и осталась. К Викентию она прибежала в разное время, чаще всего на повороте солнца, когда все живое забирается в тенистые и темные углы и дремлет бесшумно и чутко. В такие часы люди, и звери, и птицы стараются соединиться парами. Гуси тихонько гогочут, крохали⁷, отдыхающие на заводях, крикают сонно и слабо и крепче прижимаются друг к другу. Викентий ловил эти скрипучие и ласковые звуки и тоже прижимал к себе дикую красавицу, и ему казалось, что он обнимает не женщину, а птицу. Она целовала его бешено, страстно, впиваясь зубами в его крепкую мохнатую грудь, потом неожиданно вскакивала с постланных шкур и словно улетала на крыльях в открытые двери.

В одно утро, покинутый быстрою Дукой, Викентий Авиллов взял шапку и пошел по тропинке на другой конец заимки к той же знакомой избушке Натахи Щербатых. Старуха не спала.

⁷ Одна из пород крупных уток.

Она вышла на двор в кожаной юбке и странной повязке, сшитой из меха, как шапка, с прорезом на темени, и стала чинить развешанные сети вязальным челноком из мягкого дерева ивы.

– Челом! – угрюмо сказал Викентий, кланяясь девичьей матери.

– Тебе здорово! – сказала Натаха, кивая повязкой. – В избу пойдешь? – предложила она, приглядываясь к лицу гостя.

– Тут хорошо, – буркнул Викентий.

– Слушай, старуха, – начал Викентий Авилов сурово и прямо. – Отдай мне твою дочку!..

– Не дам! – коротко отрезала Натаха и тряхнула головой.

– Она меня любит, – сказал в пояснение Викентий.

– Пускай любит, – вдруг усмехнулась старуха. – Доброе дело... Может, казаченочек найдется...

– Найдется, так мой, – ответил Викентий угрюмо.

– Полно! – игриво сказала Натаха Щербатых. – Чей бы бык ни скакал, а теленочек наш...

Бесстыдная философия северного материнства была против Авилова. Он вспыхнул, но тотчас же сдержался.

– Послушай, Натаха, – начал он снова. – Я дам за нее вено⁸ табаком и деньгами.

И слово, и обычай были одинаково известны на дикой Колыме, но старая Натаха разозлилась.

– Ребенка не выкупишь венном, – прошипела она, – хоть всем твоим потрохом... Ступай-ка отсюда... Ступай, ступай!..

Любовная связь дочери ее не смущала, а радовала. Но отдать этому чужому чуженину возможного внука, паек!.. Она готова была выцарапать ему глаза...

Выскочили Липка и Чичирка и маленькая Зуйка и подняли гневное шипенье, словно сердитые гусыни на чужую собаку. Черная головка Дуки, повязанная красным, выглянула тоже из двери.

– Ступай-ка и вправду отсюда... Тебе здесь не место...

V

Зима выпала такая холодная и скудная, какой старики не запомнят. Промысел осенний рано оборвался, а подледный не удался. Напрасно мужчины долбили пешнями (ломами) трехаршинную толщу матерого льда на реке, просовывая сеть внизу на длинном «нориле», трехсаженном шесте толщиной в человеческую руку. В сети попался только круглоротый чукачан, костлявый и тощий, которым брезгают даже упряжные собаки.

Потом и чукачана не стало. В наступившую весну голод явился зловещей грозой, сулившей погибель и людям, и лающей «скотинке».

Больше полгода прожили Викентий и Дука в разных домах, услаждая свои встречи урывчатой и яростной любовью, но словно в отместку Натахе Щербатых о внуке не было речи. Дука бегала, как прежде, тоненькая, стройная, перекачивалась всюду, как ртуть, летала и вправо, и влево, словно любовь зажгла ее новым огнем, напитала особым беспокойством. И в месяце апреле, когда Щербатые Девки доедали последние «кости и головы» (рыбы), Дука встала на легкие лыжи, повесила лук через плечо, а под мышки – пицаль и отправилась, как прежде, на белые Павдинские горы. Викентий Авилов шел рядом с ней. Лыжи его были как два плота, и мягкий снег с каким-то испуганным вздохом садился под его тяжестью, но он шел вперед, как большая машина, и даже обгонял на ходу легконогую Дуку.

Первые пять верст они прошли в совершенном молчании. Потом Дука сняла ружье и отдала его спутнику.

⁸ Вено – свадебный выкуп, старое славянское слово.

– Мне лук лучше, – сказала она в объяснение, – а с пустыми руками идти на охоту – плохая примета.

Они двигались быстро, словно поедали версту за верстой своими широкими жадными лыжами. Начались Павдинские горы, поросшие лиственным лесом, потом за перевалом явилась и хвойная чаща, но не было нигде ни лосиного следа, ни заячьих «крестов», ни куропаточьей «вязки» на рыхлом снегу. Лес словно вымер. Там не было «ни червя, ни былинки», как это описано в старой тундренной сказке.

Они спустились с Павдинского вала на озеро Лисье и покатались по ровному льду, с берега на берег. Вперед, все вперед, пока не найдется добыча или смерть...

Озеро лежало, как белая чаша, в широкой котловине, и на севере синели Жабьи холмы, поросшие кедровой сланкой.

– Здесь есть еда! – неожиданно сказала Ружейная Дука и слегка постучала лыжным посохом по льду, покрытому снежным «убоем», гладким и твердым, как мрамор.

– Рыба! – прибавила она в виде ответа на удивленный взгляд спутника. – Как полный амбар.

– Так будем ловить, – горячо отозвался Викентий. У них не было сетей, но за сетями можно было вернуться в поселок, и, кроме того, северные рыболовы ухитряются ловить рыбу даже без всяких сетей.

Дука покачала головой.

– Нельзя, – сказала она с невольным вздохом. – Дедушко не любит. – Полное озеро рыбы, – начала она снова, как будто против воли.

– Дедушко не любит, – повторил с удивлением Авилов. – Какой дедушко?..

– Дед, водяной, – негромко объяснила спутница, – не любит, не дает... А ежели даст, – прибавила Дука нерешительно, – так требует плату, чего ты не знаешь, самое милое, что есть у человека...

Это была старинная русская сказка, рожденная древней природой, озерами и реками России и вновь воплощенная в озера и реки этого дикого края. Древний водяной царь из Ильменя или Селигера переселился в озеро Лисье и с каждого гостя и путника требовал выкуп, «чего ты не знаешь, самое милое, что есть у человека»...

Самое милое на севере, как и на юге, – новорожденные дети, и выкуп водяному приходилось платить маленькими русыми головками. Может быть, именно поэтому так мерли ребятишки на заимке Веселой. Жители боялись водяного, живущего в дальней пустыне, и в самое голодное время не ловили на озере Лисьем. И оттого оно было переполнено рыбой, как подводный амбар.

Однако Викентий Авилов был меньше всего склонен поддаваться таким опасениям.

– Вот еще! – фыркнул он презрительно. – Мы будем голодные ходить. Ну его к черту!

– Грех! – быстро сказала Ружейная Дука. – Солнце услышит...

Солнце, и горы, и вода были связаны одной неразрывной связью. И словно в подтверждение угрозы в воздухе стало темнее. Небо закрылось туманом и словно осело на землю. Как-то сизые клочья быстро всползли к зениту. Пахнул хиус⁹ с юго-запада, с «гнилого угла», сырой и коварный предвестник весенней метели, залепленной снегом.

– Худо, – сказала Ружейная Дука, – на озере беда. Перебежим до берега.

Но берега уже исчезли, заволоченные снежной дымкой. Ветер заревел. Воздух завился мокрыми струями расплавленного снега, словно озеро прорвало ледяную кору и взметнулось в пространство.

Они шли вперед, полуслепленные, укрывая лицо от колючего белого ада, и невольно сбивались по ветру, левее, левее к востоку, шли, сами не зная куда, вперед или назад.

⁹ Ветер.

– Дука! – позвал Викентий задыхающимся голосом. Она уходила от него в снежное море, как призрак, и оно готово было поглотить ее и скрыть навеки.

– Я тут, – ответила Дука. Она была действительно тут, совсем близко. – Свяжемся, – предложила она, разматывая пояс.

В такие метели путники связываются рука с рукой, чтобы не растерять друг друга.

– Пстой-ка! – сказал неожиданно Викентий, нагибаясь к земле. – Следы... Вышли на дорогу...

Сквозь белые потоки мелькнули на снежном «убое» словно следы от полозьев, переметные острыми грядками сыпучего снега. Дука только махнула рукой.

– Какая дорога!.. Наши собственные лыжницы... Мы закружали...

Уклоняясь от бешеного ветра, они описали полный круг и вышли на собственный след. На открытых местах в пургу «кружат» не только люди, но даже степные лошади и дикие олени.

– Пойдем, – сказала решительно Дука. – Я поведу тебя.

Она подошла и обвязала ему локоть концом пояса, другой конец замотала себе за рукав и пустилась вперед, низко надвинув олений кокуль¹⁰ на лицо и опираясь на посох. Они шли гуськом, как ходят связанные в бурю. Теперь ветер дул им прямо в спину, и они старались не уклоняться в сторону. Лишь бы идти прямо, куда-нибудь непременно выйдешь. Час или два они ломали лыжами переметный «убой», подвигались медленно и трудно, как будто и ноги их были, как руки, связаны.

– Берег! – крикнула неожиданно Дука, поворачивая голову и стараясь перекричать метель.

– Вижу! – ответил Викентий.

В тумане мелькнули холмы, словно сгущенные тучи, чуть отделенные от общего хаоса.

– Ах!

Викентий Авиллов двинул обеими лыжами сразу и вдруг ощутил, что лед его больше не держит.

– Берегись! – крикнула Дука, отбегая назад, но было уже поздно. Твердый «убой» разлезся под ногами Викентия, как рыхлая корка, и он провалился по пояс в холодную жгучую воду.

То была «наледь». Горная речка, промерзнув до самого дна, гнала набегающую воду поверх льда, и эта живая струя из лощины выбегала на грудь озера, скопляясь глубокой лужей, проедавая внизу матерый лед, а сверху покрываясь новой тонкой корой. Такие наледи часто встречаются на горных потоках, особенно весной.

Викентий и Дука действительно добрались до берега, но, прежде чем выйти на землю, провалились в полярную зажору.

– Держись! – крикнула Дука. Она успела отбежать на край твердого льда.

Выгибая свой стан и напрягая руки, она потянула за пояс. Викентий выполз из зажоры, как огромная нерпа, и поволокся на брюхе к безопасной окраине. Потом сбросил с ног обломки лыж и с усилием встал на ноги. Его меховая одежда была напитана водой и облеплена снегом, и он походил на рыхлый ком, какой ребятишки катают, чтобы вылепить бабу.

– Скорее! – торопила Дука. – Обмерзнешь!..

Она шла вперед, волоча за собою измокшего спутника. Викентий тащился через силу. Платье его леденело, особенно снизу, а ноги местами горели, а местами стали нечувствительны и тверды, как дерево.

Снег становился все мягче и глубже. Они подошли к нависшему обрыву скалистого берега, где было углубление вроде небольшой пещеры. Оно было набито снегом сверху донизу.

¹⁰ Капюшон.

Викентий повалился на снег, но Дука сбросила лыжи и стала раскапывать лыжной доскою сугроб. Углубление очистилось, и снежный вал вырос впереди, давая защиту от ветра.

– Иди сюда! – позвала она спутника.

Викентий кое-как переполз в убежище. Тело его, покрытое коркою мокрого льда, не повиновалось ему больше.

– Дай я тебя раздену, – сказала Дука.

Она стащила с него мохнатую обувь и меховые чулки, потом сбросила с себя свою верхнюю «парку» и завернула его холодные голые ноги в сухой мех. Она выжимала его мокрые оленьи шаровары, как выжимают белье, выдавливая из них воду тупой стороной ножа, натирала их снегом, стараясь извлечь по возможности влагу и вернуть сухость, дающую тепло. Снежная стена вырастала. Вьюга наметала на нее широкой белой метлой новые и новые горы. Наконец сугроб перегнулся и осыпался на выступ скалы. Отверстие закрылось. Они были в плену, в тесной ячейке, как личинки в древесной трухе. Стало темнее и теплее. Буря как будто оборвалась. Станным контрастом легла тишина после разнuzданного воя, оглушавшего их еще за минуту. Теперь доходило снаружи как будто жужжание пчел. То были белые пчелы метели, которые визжали снаружи, как медные сирены, и жалили, как змеи. Но сквозь снежный окоп голос их казался ласковым и нежным.

Викентий закрыл глаза и впал в забытие. Дука быстро повернула своими маленькими крепкими руками его неуклюжее тело, раздела его донага. Белая кожа Викентия слегка розовела под лаской ее пальцев, но на бедрах и около лодыжек отстали помертвевшие клочья, как ветхая бумага, и под ними алело кровавое мясо, как будто натертое соком брусники, которой весельчанские девицы натирают осенней порою свои смуглые щеки. Дука сняла осторожно истлевшую кожу и завернула Викентия в обе широкие парки. Потом подстлала наружную парку из серой парусины, села на землю спиной к скале и голову друга положила к себе на колени.

В крошечной ячейке под снегом было тепло, даже душно, ибо воздух с трудом проходил сквозь снежный окоп. Оба они впали в забытие, обмерзший охотник и его спасительница. Лицо Дуки склонилось низко и словно прильнуло к лицу истомленного юноши.

Ночь пришла и ушла. Мутный свет воскресшего дня проник в подснежную нору сквозь белые окопы. Дука с усилием подняла голову и прислушалась. Снаружи было тихо, и пчелы не жужжали: они улетели с озера Лисьего и окрестных лесов подальше к востоку. Дука снова взяла свою импровизированную лопату и стала проламывать путь сквозь снежную стену на волю. Свежий воздух вместе с солнечным светом хлынул в пещеру. Буря исчезла, как будто волшебством, и был весенний день, брызжущий светом, какие бывают на Севере весной, морозный в тени, и жаркий на солнечном припеке.

Приземистый лес рос на самом краю обрыва. Дука пошла наверх и стала выбирать из-под снега валежник и сбрасывать вниз. Через полчаса снежные окопы были широко раскрыты и обмяты, веселый огонь горел перед входом в пещеру, наполняя ее запахом свежей смолы. Под каменным навесом стало теплее, чем в доме.

Викентий тоже проснулся и сел на своих шкурах. Кожа, обожженная морозом, все-таки мало болела, но голова его кружилась от голода и истощения.

Дука посмотрела на него озабоченно, потом решительно привстала, достала из-за пояса крепкий дорожный нож, вытащила лезвие из роговой рукоятки и стала его прилаживать к палке, чтобы сделать копьё. Потом потянулась к выходу.

– Куда? – слабым голосом спросил Викентий.

– Скоро приду, – ответила Дука успокаивающим тоном. – Иду за едой, за рыбой.

Викентий покачал головой.

– Как ты достанешь? – спросил он уныло и тускло. – Разве этим сумеешь пробить ополонку?¹¹

– Сумею, достану, – уверенно бросила Дука.

Она вышла из пещеры и направилась влево к наледи. Она обошла ее близко, у самого края, и дальше перед устьем сердитой горной речки, не скованной даже морозом, отыскала во льду глубокую промоину, озерное окно. Кипящая вода прогрызла матерый лед своими пенными зубами и убегала вниз, вздуваясь пузырями. У этого окна был зимний «застой» рыбы. Рыба столпилась кругом стадами и рунами и выглядывала наружу, жадно глотая свежий воздух, проходящий сверху в пенной струе. Дуке не пришлось пробивать своим слабым копьём трехаршинную толщу льда. Она просто наметила ближайшую рыбу побольше, пожирнее...

– Дедушко, дай, – сказала она жалобно, но воды молчали. – Плату возьмешь, какую захочешь, – сказала она снова с дрожью в голосе.

И, словно в ответ, прокатился глухой удар, подобный выстрелу. Это лед, разъедаемый снизу весенней водой, не выдержал и треснул.

– Никола, благослови!..

От языческого бога Дука перешла к христианскому, ткнула копьём, ловко подхватила добычу, потом вытащила ее на закраину льда.

Дня через три Дука и Викентий вернулись на Веселую заимку. Они не принесли с собой никакой добычи, ни лесной, ни озерной. Дука не решилась взять из подводного амбара больше дневного пропитания. Викентий Авилов хромал, опираясь на посох. Его правая лыжа, изломанная в середине и связанная лыком, оставляла на снегу странные следы, как будто от раненых пальцев.

Заимка Веселая уже не нуждалась в добыче из леса. Первая весенняя «ожива», спасение голодных, пришла внезапно и обильно, как бывает среди дикой природы.

С верховьев спустился налим и шел к устью реки выметывать икру. Рыба ежедневно набивалась десятками в ивовые верши, и на каждом столе дымились похлебка из максы¹², жирная и желтая, как расплавленный янтарь.

VI

После того Викентий и Дука поселились вместе в избушке, когда-то покрытой холстом. Впрочем, Викентий Авилов давно наложил настоящую крышу, даже устроил и сени с чуланом и амбар для рыбы. Усадьба его стала несколько не хуже, чем даже у Митрофана Куропатки. Собачья упряжка у Викентия подобралась лучшая в поселке. Одиннадцать псов, вороных и высоких. Их звали всех на одно имя – Воронками. Двенадцатая была Ворониха, матерая сука, и все Воронки были ее сыновьями. Она шла впереди «потяга», водя за собою свое одногнездное потомство.

Старая Натаха и другие Щербатые Девки подняли крик. Даже богатое вено табаком, и деньгами, и чаем, и тканями, которое Викентий Авилов сложил к ногам сердитой старухи, ничуть не помогло. Дело уладилось только при помощи фляжки, долбленной из дуба и налитой спиртом, который на Севере ценится дороже человеческой крови и может купить не только дочь у матери, но даже жену у мужа.

Весну, и лето, и осень прожила Дука под кровлей Викентия Авилова. И замечательное дело – попавши под новую кровлю, она сразу понесла под сердцем и через девять месяцев родила первенца сына, молодого казачонка. Ибо Дука все еще считалась казачьей девкой. Священник должен был приехать на будущее лето. Тогда имели совершиться одновременно и брак,

¹¹ Прорубь.

¹² Налимья печень.

и крестины. В ожидании этого, и в виде компромисса, мальчика звали именем Викеша по отцу, а прозвищем по матери – Щербатый. Зима удалась ласковая, сытая, обильная рыбой и дичью. Песцы попадали под бревна, а олени в ременные петли. Настали веселые святки, время всяческих потех, игрищ и даже хороводов, которые водят на Севере в долгие зимние ночи в избе перед пылающей печью.

Толпа «машкерованных», парни, девицы и дети в вывороченных шубах, с завешенными лицами, весело ходили из дома в дом. С ними ходила и музыка: Васька Сопатый и Мишка Пузан. У Васьки была балалайка с некрашеной декой, а у Мишки даже самодельная скрипка со струнами из заячьих кишек и странным смычком из белого конского волоса.

«Машкерованные» прошли по порядку все избы и теперь подошли к новой избушке Викентия Авилова, стоявшей на отшибе. Еще на дворе перед сенями они запели «виноградье», старинную святочную песню, привезенную древними посельщиками из московского царства.

А мы ходим, ребята, виноградники,
А мы ищем-поищем господинов двор,
Господинов двор посередь Москвы,
На семьдесят верстов, на семи столбов...

– Милости просим, гости дорогие! – сказала Дука, выходя в сени и кланяясь. Но гости не входили и пели жалобно:

У нас обуточки тоненьки, у нас ножки зябнут, виноградье!..
И перчаточки беленьки, у нас ручки зябнут, виноградье!..
Красно-зеленое!..

Они дожидались приглашения хозяина, без которого нельзя войти в избу.

– Пожалуйте, – басом сказал Викентий Авилов, кланяясь в свою очередь.

Гости с хохотом ввалились в избу. Началась пляска, вальс-казак, смешанного типа, медвежьего с козлиным.

– Нашу заиграйте, плясовую, – требовали парни, топая об землю мягкими подошвами сапог, как будто настоящие медведи. – Камочку заведите!..

Скрипка завела старинную «камочку»:

Ты, камочка, камочка моя,
Мелкотравчата, узорчатая...

Дука поставила на стол холодную закуску, в полном смысле слова холодную, как лед: мороженую рыбу-строганину, нарезанную стружками, и мерзлую бруснику, красную и твердую, как бусы. Она была совершенно счастлива.

Муж у нее был орел из далекой Руси. Дом у нее был как полная чаша. В зыбке у печки дремал почти годовалый ребенок, а за печкой прятался суседко-домовой, крошечный уродец, которому под праздник пекут колобки величиной с ноготок.

И почетные гости у ней веселились, как у самых «больших людей».

В разгаре этого веселья с улицы послышался свист, лай собак и шум подъезжающих полозьев.

– Марчик, подь, подь!.. Куга!.. – выкрикивали мужские голоса сигналы собачьей команды. Пляска прервалась. Хозяева и гости высыпали на улицу, все вперемешку. Луна светила ярко, как днем. По косогору с реки взбиралась вереница собачьих упряжек, одна за другой. Они поднимались наверх, как длинные змеи, и подъезжали к усадьбе Викентия Авилова.

То был парадный, разукрашенный святочный поезд. Ременные шлеи собак были обвешаны лентами. На поперечных дугах звенели бубенцы, и задние грядки были украшены красными флагами.

– Здорово, старик! – раздавались веселые окрики.

Викентий Авилов с удивлением смотрел на приезжих гостей. То были товарищи снизу, от самого устья, «государственные люди», от «Края лесов» и от берега моря, те самые, которые проехали вниз по реке три лета назад. Меднобородый Гармолиус и Павел Арбинский, широкий и черный, как жук, и длинный Игнат Симиренко и другие.

– Куда поднялись? – спросил Викентий Авилов весело и удивленно.

– К нам, к нам, – наперебой кричали весельчаны, – гостечки любимые!

В этот святочный вечер они готовы были отдать приезжим все, что было в избе, и себя в придачу. То были дальние гости, Христовы посланнички, носители свежих вестей, связь с миром...

– Куда вы собрались? – спросил еще раз Викентий и вдруг оборвался. Во рту его внезапно высохло, и даже глаза потемнели от буйного волнения.

– Туда! – указал Арбинский на юг широким и властным жестом. – Да ты разве не слышал? Пришла эстафета с пером из самого Якутска. – Зовут, отпустили!..

И он рассказал Авилову в кратких словах поразительные вести памятного «безумного» года... 1905-го. Вести прилетели с севера за тысячи верст волшебною силой лебединого пера, припечатанного к пакету сургучом, и трудно было разобрать в далекой полярной пустыне истинное значение и силу этого чудесного рассказа.

Но ясно было одно: отпустили. Зовут...

Викентий слушал молча, и в белом просторе под светом полярной луны перед ним вырастали воочию полузабытые картины: улицы, окна домов, несчетные толпы народа, трамвай, оживление, шум...

Ребенок заплакал. Дука вынула его из зыбки и поднесла к отцу. Но Викентий взглянул рассеянно и даже не поцеловал своего первенца. Мысли его летали далеко, что дальше, то стремительнее. Они перенеслись за Урал и теперь приближались к Москве. Новая, загадочная Русь...

На следующее утро гости поднялись еще до свету и приготовились к отъезду. До Середнего города еще оставалось 200 верст и надо было торопиться. Викентий Авилов вывел свою вороную упряжку и молча стал запрягать ее в высокую, узкую «нарту». Ружейная Дука ахнула и обхватила его голову руками и завывала:

– Не пустю, не пустю!..

– Довольно! – сурово сказал ей Викентий и снял ее руки с плечей.

– Нас бросить хочешь? – вымолвила Дука негромко с сухими глазами.

Авилов схватил неожиданно Дуку за плечи.

– На тебе мою правую руку! – заговорил он, быстро и тяжело дыша. – Возьми молоток и гвозди и прибей ее к двери. Я себе правую руку отрежу, а с левой уеду!..

Он был как безумный, и глаза его сверкали.

– Куда, зачем? – вопила по-прежнему Дука.

– Туда! – указал Авилов на юг, как прежде Арбинский. – Домой! Отпустили... Зовут... Россия зовет!..

И Дука притихла.

– Оставляю тебе все имение, – наказывал Викентий, – собак верну из Середнего... Владейте навеки. Ворониха, подь, подь!..

Он дернул с пригорка ничем не груженную нарту, вскочил на сиденье и умчался, как вихрь. И даже не простился с женою и с маленьким сыном.

Все жители поселка высыпали на угорье и смотрели вслед уезжавшим гостям. Щербатые Девки окружили Ружейную Дуку.

– Пускай уезжает, – сказала Натаха безжалостно и просто. – Чужой.

– Викентий уехал, а Веня-то остался... Вика, Веня, Викеша, казачонок мой!..

Лицо ее сияло торжеством, ибо и дом, и имение, и внучек, и казачий паек – все это досталось навеки Щербатой семье.

– Уйдите! – крикнула Дука яростно. – Уходите сейчас. Не то ухвачу топор и всех пере-пластаю!..

Она вбежала назад в избу и захлопнула дверь.

– Дука,пусти! – заплакали сестры, дергая скобку.

Дука высунула голову в сенное оконце.

– Зарежу себя и ребенка! – крикнула она и скрылась окончательно.

Девки с плачем стояли у двери.

– Пойдемте! – сказала неожиданно лукавая старуха. – Не трогайте ее! Обомнется, так мягкая будет, – прибавила она философски.

Девичьи семьи привычны к внезапным разрывам, но старая Натаха знала по собственному опыту, что такие разрывы еще не приводят к кровавой развязке.

Дука действительно не думала больше о крови и убийстве, только металась по избе, как подбитая лисица, открыла сундук, выбросила прочь наряды, даренные мужем, синие и алые сукна, и стала топтать их ногами. Вперемешку лежало мужское белье и одежда, не взятые Викентием.

Сердце у Дуки упало. Ей попала под руку старая верхняя парка из серой парусины, которую Викентий носил на Павдинских горах в позапрошлую весну. Ей вспомнился дед водяной из озера Лисьего, пища из подводного амбара и обещание расплаты. Жестокий старик взял у нее не сына, а мужа, самое милое, что было у Дуки Ружейной. Ибо Викентий Авилов был ей милее, чем маленький казачонок Викеша.

Она судорожно скомкала старую грубую ткань, прижала к груди и к лицу, понюхала, даже зубами впилась, потом завернулась в нее с головою, как в плащ или саван. Вынула из зыбки ребенка, завернула его вместе с собою в широкую парку и легла на постель, где она проспала с Викентием, русским пришельцем, две зимы и два лета.

Целый день она пролежала на постели, не шевелясь, как мертвая. Плакал ребенок и сам добирался до груди, сосал и засыпал, и просыпался, и плакал опять. Она не слышала, но чувствовала. Только в полночь Дука вскочила с постели и вышла на двор. Луна светила по-прежнему ясно, и река уходила с севера прямо на юг, в загадочную даль. И по белому лону реки тянулась, как атласная лента, санная дорога, по которой уехал Викентий.

– Я тоже уеду! – крикнула Дука, обращаясь к югу. – Я найду, догоню... Ты слышишь, Викентий?..

Но Викентий не слышал. Только собаки завыли на соседнем дворе, начиная обычный полночный концерт. И другие дворы подхватили жалобно, тонко, протяжно...

То был вопль беспомощного севера, обращенный к далекому югу, в безответную даль.

Часть вторая

Викеша казачонок

I

– Леший, а леший, возьми этого мальчишку!

Бабушка Натаха, сверкая безумными глазами, выбежала на улицу и взывает к темному, седому лесу, кстати же лес начинается: у самого крыльца. Руки протянула вперед, волосья раскосматил – ведьма-ведьмой...

Викеша немного отбежал, стал на четвереньки, как собака, и ждет, что будет. А сам, между прочим, зудит тоненько, назойливо, как тощий комарик:

– Баба, йисть!

– Ох, йисть просит! – взывает Натаха еще яростнее прежнего. – А у меня нет еды!..

Она хватается руками за растрепанные волосы и рвет их, как кудель. Выбранные волос за волосом улетают по ветру.

– О-о! – воет Натаха. – Дука, дочь, куда ты ушла, на кого нас покинула?..

Воет Натаха, а Викеша подвывает, как маленький волчонок. Дука – это его покойная мать. В прошлую зиму она уехала на устье реки Колымы за нерпами-тюленями, да так и не вернулась с промысла.

Много оставил богатства Викентий Русак своей белой очелинке, когда уезжал на родину: сетей на вешалах, и одежды в сундуках, и муки в парусиновых мешках, собственную упряжку собак из города вернул, сам уехал на сменных, на почтовых. Да одного не оставил Викентий Русак – веселой удачи и легкости, увез свой талант на родину, в далекую Русь, оставил и Дуку и мальчика Викешу в добычу зубастому «уросу».

«Урос», «урок» – это дух неудачи. Он прячется в лесу под корнями и в болоте под пнями и кидается встречным на шею, выедавая у них счастье.

О нем стародавние песни поют:

А и горе, горе-гореваньице,
Айв горе жить, не кручинну быть,
Не кручинну быть, не стыдиться...

Но трудно человеку не стыдиться, не кручиниться под игом жестокого лесного оборотня. Как уехал Викентий Авилов, с того же дня стали Наташонки хиреть и сохнуть, словно бы их подменили.

Сутки пролежала Ружейная Дука в избе, как без памяти. Сестры постучали, перестали. Натаха велела: «Отстаньте!»

Потом выползла Дука наружу, вскинула ружье, крикнула Кровоеда, любимую собаку уехавшего мужа, и ушла в лес. Ходила день и ночь. Слыхали домашние выстрел, только один. А потом воротилась из лесу и чудно: принесла за спиной звериную тушку, не волка, не лисицу, а эту самую собаку Кровоеда.

Ахнула Натаха: «Почто?..»

Собака-то была дорогая.

– Так! – отозвалась Дука и стала обдирать шкуру. Ободрала, слегка просушила и постлала на постель, в собственные изголовья.

За эти две трудные ночи Дука словно постарела. Даже щеки у ней ввалились, и волосы стали жидкие и пестрые, как у сорокалетней.

Нужно было, однако, жить, работать. В первобытных условиях жизни действует основной закон: «Не-трудящийся не ест». Но дело валилось у Дуки из рук. К матери она не вернулась и осталась в Викентьевой стройке. Работать норвила одна, без сестер. Поедет по дрова на собаках, вынет топор, к лесине подойдет и станет, стоит. Словно забыла что.

А в голове долбит одно: «Бросил, забыл!»

Бабушка Натаха смотрела озабоченно и затеяла вдруг заклинать Викентия с ножа, как это водится у колымских присушных мастериц. Нож отрезает присуху и отделяет ненужную любовь.

Для своего заклятия старуха утащила у дочери старый набедренный ножик, оставленный Викентием. Но только что поставила Натаха нож острием на запад и стала выкликать подходящие слова: «Заря-зареница, ясная девица, заря ночная, заря вечерняя, отрежь молодца от сердца, от ума, от печени, от жалости»... – как вдруг выскочила Дука из избы и отняла нож и при этом второпях больно толкнула Натаху.

– Как? Мать! – крикнула Натаха с изумлением.

– Какая ты мать! – запальчиво крикнула Дука. – Ты...

На Колыме господствовал натуральный словарь, и вещи назывались попросту, настоящими именами.

Не могла стерпеть Дука, чтобы отрезали от нее Викентия, даже в пустом воздухе, и невзирая на то что Викентий отрезался сам.

Подравшись с матерью, стала Дука на бегучие лыжи и с верным ружьем и своей собственной сучкой, Губанькой, побежала в лес.

Бежала весь день до ночи, скатываясь с длинных тянигузов (косогоров), выбегала на лысины голых бугров, ныряла в крутые овраги, продиралась в чащиннике, не хуже лосихи с железными ногами. И к вечеру на речке Березовой и густой непроходимой чаще, в яру под ручьем Муруданом, отыскала Ружейная Дука новое чудо. Лиственница, стоявшая пред яром, заиндевала, как будто от дыхания, и вся разувесилась длинными бородами пушистых стеклянистых нитей.

Дука поняла, что под яром в глубине есть кто-то большой, дышущий.

«Медведь! – подумала Дука. – Тебя-то и искала». Спящего в берлоге медведя поречане не тревожат, особенно один на один. Но Дука в этот день была опаснее медведя.

Она дернула из-за пояса свой маленький топорик, без которого северный охотник не выходит из дому, выбрала мохнатую лесину и в несколько ловких ударов свалила ее на снег. Потом поднесла ее к берлоге и дерзко сунула в глубь, в темноту. Послышалось рычание, сперва тихое, словно спрysonья, потом громче, сердитее.

Сучья затрещали, и из берлоги показалась голова, увенчанная жесткой зеленой хвоей. Медведь оцарапал себе морду сучьями и был в прескверном настроении. Но Дука не оробела.

– Выходи! – позвала она его. – Мужичина лесной, башка толстолобая!..

Медведь выскочил из ямы с неожиданной силой и мягкостью. Потом подумал и встал на задние лапы. Еще подумал и пошел, переваливаясь, навстречу непрошеной гостье.

– Принимай гостей, – усмехнулась Дука, – брошенную бабу.

Была такая старая сказка, где жена, брошенная мужем-человеком, ушла к медведю и прижила с ним дитя: полтела медведь, полтела человек.

Медведь продолжал подходить. Дука видела его красные бегающие глазки, видела каждый волосок жестких коротких ресниц. И также сразу она подхватила ружье, приложила, пальнула. И медведь упал, как пораженный громом. Прямо в сердце угодила меткая острая пулька.

– Что, взял? – сказала Дука. Она подошла, не дожидаясь, пока медведь перестанет дергаться, и поставила ногу на еще живое тело.

– Всех бы вас так!

Это относилось не к медведю, а к мужчине. Лесной мужичина поплатился за бегство Авилова.

И тут ощутила Дука, что ей стало легче. Черная кровь, вытекшая из чужого сердца, как будто отворила ее собственное сердце, запечатанное горем... Из брошенной мужней жены она стала опять Ружейною Дукой, вольной лесной охотницей.

После того жизнь Дуки потекла, как три года назад, когда еще не было Викентия Авилова на заимке Веселой. Она выметывала сети на нельму и чира, ставила хитрые ловушки: пасть на лисицу, плашку на зайца, черкан – на горностаю, лук-самострел – на оленя и лося. Да мало ли еще...

Было ей вначале трудно. Она привыкла в три года жить за широкой спиной и крепкими руками Русака, а теперь приходилось опять работать за двоих. Но Дука справилась.

Соседи присматривались к ней и дали ей новое прозвище в придачу к прежнему – Мужик-Баба. Дука действительно ворочала за бабу и за мужика. Впрочем, она так и осталась нелюдимою, с сестрами не говорила, а только отвечала на вопросы: «да», «нет», «возьми».

Мальчика она держала при себе и ходила за ним, как умела. Ночью придет из лесу, сварит, поест и мальчика накормит.

В те дни, как уехал Викентий Авилов, Дука сразу потеряла молоко и поневоле приходилось кормить мальчишку мясом. Впрочем, Викеша к мясу относился, как волчонок. На втором году у него был полон рот зубов. И в этом Дука отошла от своих соседок, которые кормили грудью детей до трех лет и дольше.

Покормит ребенка и положит с собою в постель. В изголовьях шкура Кровоеда, занепрасно убитой собаки, шкура медведя на полу. И начнет Дука разговаривать.

– Викентий! – плакала она громко, в голос. – Вернись! Куда ты ушел? Кровоед, кровь мою выпил! Мохнатое сердце!

Она как будто смешивала воедино убитого кобеля с бежавшим мужем.

– Собака, другую завел!

Глаза ее гневно сверкали, и она готова была сдернуть топорик с крюка и выскочить за дверь на поиски дальней соперницы. Долго потом помнил Викеша простоволосую мать свою с ее слезами и диким болезненным криком.

– Мохнатое сердце твое, желчь твоя медвежья! – бранила Дука отсутствующего мужа.

– И ты тоже, волчонок, медвежонок! – обращалась она к сыну. – Русская собака! Сердце мое дорогое!

И она хватала сынишку и душила его поцелуями.

Так шло год и два, а потом Дука утихла. Но мальчик рано начал понимать и разговаривать. Дука разговаривала с ним по вечерам, но более спокойно, и все об отце.

– Русак твой отец, из далекой земли. Пришел, забрал! Не стодились мы ему. Бросил, утек! Как пришел, так и ушел, как летнее солнце. Русский орел, осилок. Нету другого такого и не будет никогда. Твердое сердце у него, как витое железо. Не здешнего корня, не ровня колымскому народу. Злое сердце. Руки кровавые, убойные.

– Ты тоже русак! – говорила она сыну. – Ты другой такой, Викентий ты, Авилов.

II

И вправду, не только именем, но и всем обликом, и соколиным глазом, и гордой посадкой головы Викентий был весь в чужеродного отца. Но и теперь уже можно было разобрать, что не будет он столь грузен, и выйдет он более тонкий и более гибкий, не лось, а олень. Густое

кровавое пиво злого русака смешалось с медовой брагой от вольной лесной пчелки и двойным букетом ударило в голову мальчику Викеше.

Так рос мальчик из года в год, оторвался от маминой сиськи и от маминой юбки и вышел на улицу, т. е. в глухой непроходимый лес, начинающийся от порога избы.

Северные люди телом вырастают медленно, а душой быстро. Ибо в условиях Севера детства почти не бывает. Человеческий детеныш – это двуногий звереныш. И так же точно, как звереныш четвероногий, он научается рано терпению, и хитрости, и голоду, и также убийству. Убийство – это промысел. Если не убьешь, не поснедаешь. И недаром чукотская сказка рассказывает твердо установленными типичными словами: «Сделал себе (мальчик) лук и маленькую стрелку. В первый день убил трясогузку, зажарил, съел. Во второй день убил куропатку, зажарил, съел. В третий день убил гуся, в четвертый день – лебедя, в пятый день – оленя, в шестой день – тюленя. В седьмой день стал убивать всякую живую тварь, сделался великим промышленником, кормил целый поселок, оброс и обложился запасами».

Таким же ранним охотником сделался Викеша Казачонок и так же переходил от малого к большому, умножая и разнообразя добычу.

Шести лет отроду он принес матери первую куропатку, пойманную в силок. Куропатка была живая, так как он и не подумал свернуть ей шею. Впрочем, куропатка замерла от страха и лежала в руке его смирно.

Викеша поднес ее матери и потом ее же упробовал не убивать куропатку, а выпустить ее.

– На! – сказала Ружейная Дука. – Пускай летит!

Куропатка охромела от силка. Хромая, пошла по дорожке и нырнула в ерничные¹³ заросли, только и видели ее. После того жители нередко встречали ее в кустах на городской площади. Даже прозвище дали ей: Аксинья Хромая. Налетных куропаток в городе было сколько угодно, но местная живая куропатка, с именем, с правами городского оседлого жителя, была в новость. У охотников рука не поднималась убить ее.

Даже собаки держались с куропаткой как бы на почве вооруженного нейтралитета: «Ты не долби меня, и я не укушу тебя!»

Рядом с куропатками и зайцами мысли мальчика постоянно были заняты отцом. Какой был отец? Русак с косматыми руками, огромный, как лесина. Русые волосы и глаза голубые или серые, как у него самого, у Викеши. Он, разумеется, не помнил отца, но представлял его себе явственно.

Мальчик нагибался порою над спокойным ручьем и словно искал в его недвижимом зеркале этот загадочный образ.

Видел мальчик такого, как Викеша, прибавлял ему мысленно роста и веса, грудь расширял, привешивал к гладкому лицу пушистую бороду – выходил совсем настоящий отец, как две капли вылитый. Но в то же время, без сомнения, это был мальчик – Викеша. Образ двоился, отходил и просыпался в его собственной груди.

Он перебирал вещи Викентия Авилова, огромную парку, сапоги с подковами, похожими на конские копыта. Непонятные книги, которые не мог бы прочитать даже главный городской грамотей, Олесов Никола. Рассматривал картинки, четкие и мелкие, но понятные без слов.

– Учись! – оказала мать. – Ты от ученого кореню.

И он самоучкой просиживал над толстыми томами, тщетно стараясь подыскать себе ключ к их таинственной мудрости.

Без помощи дьячка, городского учителя, выучился Викеша русской азбуке и уже шести лет мог вычитывать из книги многое простое, крупное, прямое. Азбуку ему прочитал старый одинокий поселенец, Зотей Жареный, и тем и закончилась его грамота.

¹³ Ерник – ползучая береза.

Но чаще всего Викентий разговаривал с отцом теми же сердитыми словами, подслушанными у матери.

– Оставил нас, собачья морда! – говорил он мысленно отцу. – Тебе хорошо, а нам, небось, маяться!..

– Все равно, я найду, я догоню! Не уйдешь от руки моей! Мой меч булатный прольет твою жаркую кровь! – говорил он сказочными словами, как разговаривали богатыри, украшенно и величаво.

Восемь лет было Викеше, когда мать его погибла на тюленьем промысле.

В тот год на Веселой был опять недолов рыбы, и призрак голода обрисовался над плоскими избами. Рыбаки уходили на дальние озера за чиром, охотники бродили по лесам, на поисках за лосями, но и лоси куда-то исчезли. Скучность стояла по всей реке до самого устья. Но за устьем начиналась новая ожива, охота на взморье на мелких и крупных нерпей, которые подплыли к берегам на обломках ледяных полей, прибитых к берегу северными ветрами.

Вместе с другими ушла за нерпями и Дука и на этот раз взяла расписную нарту своего русского мужа и его резвую двенадцатиголовую упряжку. Упряжку взяла, но домой не вернула и сама не вернулась.

Товарищи по ловле рассказывали: дунул хиус¹⁴с юго-запада, унесло ледяные поля в голомянную ширь, чуть сами не потонули. С ледники на леднику перескакивали, собак переводили бродом и почти вплавь, все же перевели. А Дука была дальше всех, и она не успела вернуться.

Вот с этого черного дня Викеша перестал думать об отце Русаке и думал о матери. Она снилась ему даже по ночам, в надледной беде, знакомой всем северным промышленникам.

Льдину откололо и вынесло в море. И собаки жмутся на закраине и воют жалобно. А Дука забила в застругу поглубже гарпун, привязала его ремнями спереди и сзади, как мачту, и сама привязалась за пояс к гарпуну, и стоит, крепко держится за эту последнюю жердь, как за якорь спасения. Волны налетают и бьют через льдину и через голову Дуки. Вся она мокрая насквозь. Одежда ее мерзнет, и Дука коченеет.

– Викеша! – зовет она холодными устами. – Мой маленький Викеша!

Она отнимает руки от жерди-гарпуна и протягивает их вперед, и будто летит, и падает, и исчезает.

Так гибнут на страшном океане морские звероловы из году в год, от весны до весны. И так погибла Викешина мать, Ружейная Дука Щербатых.

Викеша забыл ее настоящее лицо и помнил только этот странный мелькающий образ, женщину с протянутыми руками, летящую над бешеной пеной.

После Дукиной гибели Щербатые Девки совсем упали духом.

За упряжку и нарту Павел Матвейч, приезжий торговец с реки Индигирки, давал без спору три тысячи сельдей да три пуда жирной толкуши из отборных сигов, чаек, табачок. Такого запаса хватило бы безбедно до нового лета и нового промысла. Было бы и пить, и курить. Теперь не было у них ни Дуки, ни собак, ни запаса.

Урос пахнул на Щербатую девичью выть, колючая и злая неудача, от которой спасенье в бегстве. Дукины сестры, Чичирка и Липка, бросили избушку на Веселой и сплыли на устье, на низ. Они до того изменили преданиям девичьей семьи, что нашли себе мужиков настоящих, попали в пестуны к чужому очагу. В избушке остались лишь старая да малый, Натаха и Викеша.

На зиму эти перебрались в Колымскую столицу, Средний, т. е. Средне-Колымск. Оставаться на Веселой было страшно без еды и почти без соседей. Ибо и другие весельчане разбрелись из-за голода кто куда.

¹⁴ Ветер.

Кстати же, и в Среднем у Щербатых была собственная хибарка, такая же утлая, черная, худая, точь-в-точь, как их коренное гнездо на заимке Веселой. Хибарка стояла на самом краю городка, на Голодном Конце, где ютилась городская беднота, хилые «меньшие люди».

Бабушка Натаха совсем не замечала перемены. Она бранилась и в Среднем с Викешей и с лешим, плакалась о Дуке, о своей расстроенной жизни.

III

Викеша смотрел на бабку с недоверием. Вместо еды она могла его накормить разве ожигом, длинной обожженной палкой, которою она мешала дрова в камельке.

Варить было нечего. Уже третий день котел стоял у них на полу за шестком, совершенно сухой и опрокинутый вверх дном, в знак полной пустоты и отказа от кухонной службы. Котел отказался их дальше кормить, и они, в свою очередь, отказались от него.

Натаха вернулась в избу, тяжело хлопнув западавшей дверью. Викеша стоял на дворе. Старая собака, лежавшая в снегу у порога, тускло поглядела на него, лениво подошла и вильнула хвостом.

У них остались три старых собаки, которые уже не годились для дальней езды. Викеша запрягал их в нарту-водовозку и ездил поблизости за хворостом в лес или с ушатом к проруби.

– Ястреб, хочешь йисти? – окликнул он собаку, Ястреб опустил вниз свою кудлатую голову, словно кивнул утвердительно, потом слабо лизнул в щеку своего молодого хозяина.

– Пойдем к речке, Ястреб, – предложил Викеша.

Но Ястреб вернулся на прежнее место, покружился и лег, свернувшись клубком, потом распушил хвост и покрыл себе голову. Он действовал согласно мудрому правилу: голодному сон за обед.

Мальчик пошел по улице, направляясь к речке. На дворе стоял апрель месяц. Это была странная полярная весна. Заря уже торопилась сходить с зарею, и долгий день не имел конца, и в белую ночь розовая полоса не гасла на горизонте, а только переползала с запада на восток. И на дневном солнцепеке глубокий снег уже таял и садился. От его остеклевшей груди солнце отражалось режущим блеском. В этом блеске люди слепли и собаки бесились особым весенним бешенством. После ужасной зимы этот яркий блеск опьянял, как вино на голодный желудок. Ибо нарядная весна, белая и яркая, приводит с собой голодовку даже для зажиточных и сильных. Зимние запасы кончались, а в реках под толстым льдом еще не было рыбы, и на тундре не было дичи. Надо было ждать, потуже подтягивать пояс.

Речка Серединка, мелкая, лесная, вся в желтых омутах, впадала в Колыму. По обоим ее берегам был завязан полярный городишко. Жители рассматривали оба потока примерно как матку и дочку. И первую просто называли «река», а вторую «речка». Собственных имен не прибавляли. Они подразумевались.

На речке было тихо. Черные колья рыбной плотины торчали из-под снега. Ивовые верши стояли на косогоре в ряд, как солдаты. На низких вешалах висели невода. Легкий ветерок чуть постукивал поплавокми, словно играл на огромном ксилофоне. Под косогором несколько тощих собак терзали изгнившие клочья какой-то старой шкуры. Это были живые скелеты. У них заплетались от голода ноги, и их собственная шерсть висела такими же клочьями, как на их жалкой добыче.

Избы стояли под снежными шапками, нахохлившись, как старые совы. Половина печей топилась, и над деревянными трубами, обмазанными глиной, стояли высокие дымные столбы, пронизанные искрами. Но в запахе свежего дыма не было никакой съестной струи, и ничто не щекотало ноздрей голодного мальчика.

Из дверей напротив вышел другой мальчик, по виду Викешин ровесник. Он был в черном балахоне и в шапке с ушами. Завидев Викешу, он подскочил к нему, остановился, подрыгал ножкой, как голодный воробей, и пискнул:

- Сказывай!
- Спрашивай!
- Варили?

Викеша сердито покачал головой:

- Уйди, Андрейка!

– Йисть хочу! – пискнул мальчик мимоходом и тотчас же прибавил: – Пойдем на девчонок посмотрим!

Девчонки сидели внизу под косогором, у самого берега. Они занимались странной игрой. Выкопали в песке небольшие ямки, набрали круглых камешков, похожих на яйца. Каменные яйца лежали в песчаных гнездышках, а девчонки сидели перед гнездышками и пели тихими и тоненькими голосами «уточку»:

- Утка, утка, утичка, утичка матерая, на яйцах сидит!

Мальчики скатились сверху, как буря, въехали ногами в утиные гнезда и разбросали каменные яйца.

- Будя! – кричал Викеша. – Давайте лучше в ворона играть.

Он совсем забыл про голод, и глаза его радостно блестели.

Девочки быстро согласились. Лика, по прозвищу Сельдятка, вертлявая девчонка, глаза-стая и черная, как галка, застрекотала радостно: «Я буду matka, я буду matka!»

- А я буду ворон! – говорил Викеша.

- А я кто буду? – переспросил Андрейка. – Ну я буду стрелец с луком.

Он вынул из-за пояса ножик, который поречане носят чуть не с колыбели, срезал хлыст ползучей березы, потом достал из кармана тонкий ремешок из черной мандары, шкуры пятнистого тюленя, и согнул себе лук для своей роли стрельца. Потом выстругал стрелу. Луки на севере были в ходу даже у взрослых. Станичные казаки били из лука гусей и лебедей, как богатыри в былинах. Лук состязался с кремневым ружьем, ибо стрелы ничего не стоили, а порох и свинец приходилось покупать у купцов за дорогую цену

- Ворона, ворона! – кричали девчонки. Они столпились все вместе, изображая гусенят.

– Ворон, ворон, что ты делаешь? – спрашивала matka, прикрывая гусенят руками, как крыльями.

- Землю копаю.

- Зачем копаешь?

- Камушки ищу.

- Зачем камушки?

- Ногти точить.

- Зачем точить?

- Твоих деток царапать!

- У ворона глазки жадненьки! – крикнули гусенята и бросились врассыпную.

Ворон ринулся вдогонку, но стрелок пустил в него стрелу и попал ему в бок.

– Умер, умер! – кричал Андрейка. Но ворон, не обращая внимания на собственную смерть, догнал самого маленького гусенка, Аленку Романцеву, которая еле ковыляла на коротеньких ножках, и зарылся своим острым носом в ее мохнатый балахон.

Девочки бросились на выручку, да остановились, не добежав.

- Девушки, йисть хотца! – раздалось, как припев, и руки у всех упали.

Только ворон не унимался и немилосердно теребил несчастного птенца.

- Кусается! – раздался писк и плач пятилетней Аленки.

Девочки бросились на выручку и стали щипать хищника так же крепко и бесперомно, как щиплются настоящие гуси.

Началась свалка. Аленка вывернулась и с плачем побежала. Показалось Викешино лицо, красное, свирепое, с дикими глазами. Он, кажется, и впрямь вообразил себя вороном, жестоким людоедом.

Девочки, запыхавшись, сели рядом на длинном бревне.

– Давайте сказки сказывать! – предложила Фенька Готовая.

Сказок на Колыме было великое множество. Тут попадались русские, чукотские, якутские, тунгусские и даже американские индейские сказки, которые переплывали Берингово море вместе с китоловами и спиртовозами из Сиэтла и Сан-Франциско. Ребятишки и сами умели сочинять и даже устраивали состязания, кто скорее и лучше расскажет. Но самые лучшие сказки знала Машуха Березкина, короткая широкая девчонка, как будто выпиленная из сосновой доски.

– Какую сказывать? – предложила она, даже не дожидаясь приглашения.

– Едемную! – пролепетала Аленка, которая забыла о трепке и жадно раскрыла рот от ожидания.

– Зили-были старик и старуха, – начала Машуха особым шепелявым, свистящим, низким голосом. – У них были три дочки, Оселочка да Иголочка, да Метелочка. А еды у них было: олений бок, сохачиная голова, фляга жиру, вязка рыбы сушеной, сотня мороженой.

– Нельма, – прибавила Аленка вдруг.

Сказка сочинялась тут же на месте, и слушатели имели право делать вставки по своему желанию и вкусу.

– Не мешай! – огрызнулась Машуха. – Вот они как стали йисти, как стали йисти, съели этот бок, и голову, и жир, и рыбу...

– И нельму, – прибавила Аленка упорно.

– Девки, молчите! – крикнул неожиданно Викеша и вскочил на ноги.

Сказка оборвалась. Девчонки смотрели удивленно на буйного мальчишку.

– Молчите, не дразните. Кусаться стану!

Сельдятка засмеялась.

– Да ты, видно, правду людоед! – бросила она задорно.

– Молчи, зараза! – крикнул Викеша запальчиво. – Уйду я от вас!

– В чукчи иди! – поддразнивала Сельдятка. – Там мяса много.

– Тьфу, проклятая! – Мальчик отплюнулся длинным сердитым голодным плевком и быстро зашагал по улице, проходя сквозь Голодный Конец. Тут обитала вся городская голь, сироты, старухи, сифилитики, городские нищие, двое Егоршей – Егорша Худой и Егорша Юкагир. У многих не было даже настоящей избы, и, несмотря на лютый холод, они ютились в каких-то странных гнездах, выплетенных из ивы, как старая корзина, и засыпанных землей. Другие помещались в хатонах, старых хлевах, сложенных из стоячих плах, замазанных глиной и навозом. В таких хлевах якуты помещаются вместе со скотом, и скот, по крайней мере, греет их своим теплым дыханием и гниющим навозом. Но здесь приютился в хлевах человеческий скот, слишком тщедушный и тощий, чтобы родить из себя тепло.

На Голодном Конце не было ни одной коровы и даже упряжных собак на дворах было меньше, чем двуногих под жалкою крышей.

Солнце понемногу собиралось всходить. Восточный край неба оделся яркими огненными перьями. Это «заря-заряница» в своей нарядной шубке из красных лебедей открывала дорогу своему золотому отцу. Уже загорелся венец на косматой ее голове, не вычесанной на ночь. Ибо с апреля заря перестает чесать свои алые косы, снимает свой облачный шлык и ходит простоволосая.

Ледяное стекло загорелось на реке, обнаженной от верхнего снега. И вместе с зарей и рекою загорелись глаза и у мальчика Викеши. Но в это погожее утро они горели зловещим волчьим блеском.

Он был страшен, этот маленький комок человеческих мускулов и хищного голода.

«Убить бы кого!» – думал он, разглядывая улицу. Но на улице не было добычи. Свистнул снигирь, каркнула ворона, пролетая. Она тоже искала добычи, не хуже голодного мальчика.

В лесу и на реке не было ни жизни, ни добычи.

«Еда у людей!» – подумал Викеша.

На другой стороне речки, за утлым мостиком, жили богатые торговцы в просторных домах, с настоящими стеклами в окнах, с амбарами, полными рыбы. Тут был запасной магазин с казенной мукою и солью. Но крепкая дверь магазина была замкнута троевинчатыми замками, и их охранял часовой, казачок Алеха Выпивоха.

«Там есть!» – думал мальчик. На него словно нанесло через речку дымным запахом копченой ююлы.

IV

В маленькой избушке налево дверь отворилась, и вышел старичок, сутулый, почти горбатый, в парке-балахоне из мешочного холста, туго подпоясанный ремнем. Это был Пака-Гагара из рода Гагарленков¹⁵. За ремнем у Паки торчал крошечный топорик, сточенный до самого обуха. Железо на Колыме скудное, и даром его не бросают. Топорные обушки, сточенные до самого нельзя, служат для мелких домашних работ. На плече у старика был мешок, вернее, другая парка из такого же мешочного холста, только отороченная красным, должно быть, женская.

«Куда он?» – подумал мальчик с минутным удивлением. Топор говорил о дровах, но в лес за дровами ходят не с мешком, а с санями.

Пака перешел через речку по узкому мостику, дошел до полиции и остановился под окнами у самого исправника, постоял, подумал, даже руку поднял, сперва хотел постучать, потом двинулся по улице вперед, дошел до переулка, где был поворот к казенному складу, опять постоял и вернулся назад, прошел по переулку, ведущему к дому богатого торговца Архипа Макарьева. И тут тоже постоял и опять повернулся и прошел к складу. Он сделал это странное путешествие три раза, и наконец Викеша прочитал по петлям его запутанных шагов, как по печатным строкам: «Выбирает! Какое – казенное или макарьевское?»

Пака действительно вышел на улицу с дерзким и злым замыслом против чужой собственности, во как будто не мог выбрать, какую ему собственность нарушить, казенную или частную. Он колебался, но его колебания были всецело вещественного свойства. В казенном складе были мука и соль, а в макарьевском амбаре сладкая пища туземного люда, «жизница», ожива, источник бытия поречан, святая питательница рыбака. Посягнуть одновременно на то и на другое духу не хватило даже у дерзкого Паки.

Время было для предприятия Паки особенно удачное. В этот предутренний час, уже после восхода раннего весеннего солнца, все жители спали накрепчайшим сном, даже птицы, щебетавшие неутомно круглые сутки, смолкали на полчаса. Ветер затихал, тоже словно сонный. Казак, стороживший казенную муку, давно вернулся в караулку и спал как убитый, крепко обнимая данное ему ружье, символ его власти и позиции, вместе полицейской и военной.

Наконец Пака решился. Он обошел кругом обширную усадьбу Макарьева. Усадьба была огорожена тыном, но с каждой стороны были пролазы, особо для взрослых и также особо для ребятишек.

¹⁵ Пака – Пашка. Гагарленок – гагарий птенец.

Он шел вперед, а Викеша следовал за ним на расстоянии неслышно, как горноста́й. Пака весьма хладнокровно пролез сквозь забор, подошел к амбару, стоявшему посредине двора, под-сунул топорик под ржавый пробой: «Дрык!» – внезапным усилием он выдернул все: и скобку, и накладку, и висячий замок. На Колыме запирались некрепко. Воровать же вообще не воровали.

Правда, исправник и помощник воровали, но они это делали иначе, помимо пробоев и замков.

Сломав замок, Пака раскрыл дверь и вошел внутрь.

– Как в свой амбар вошел! – сказал себе Викеша с восхищением и завистью.

Через минуту Пака уже выходил из амбара обратно. Мешок на плечах его раздулся, потолстел и стал не меньше самого Паки. Из устья торчали два широченных рыбьих хвоста. Святая рыбка победила чужеземную далекую муку. Мука, кроме того, была затхлая, а рыба свежая, мороженая, та самая рыба-строганина, которая составляет лучшее блюдо северного сыродно-натурального стола. Едят строганину сырьем, нарезав широкими тонкими стружками без соли и без перца.

– Рыба... Чирь!

Двуногий горноста́й в свою очередь скользнул в амбар, по примеру грабителя, и отколе ни возмись туда же посыпались снаружи такие же небольшие, проворные, поджарые фигурки. Викеша даже свистнул от удивления. Тут был Андрейка и другой мальчик Тимка, и девочки Хачирка, и Сельдятка, и Шурка Стрела, и Федосья Готовая, и даже пятилетняя ковыляющая Аленка Гусенок. Они нырнули в амбар, как мыши, и тотчас же выскочили вон, прижимая к груди как будто по серебряной лопате.

– А ты что, Аленка? – прошипела с удивлением Сельдятка.

Аленка удовлетворила свою страсть к крупным нельмам и тащила уже не лопату, а целую доску. Но нельма уперлась головой в порог и отказалась выходить. Аленка зашипела и фыркнула, совсем как горноста́й, и так поддержала упорную добычу, что вместе с ней перелетела через порог и кувыркнулась в снег.

Дети убежали, как волчата, с захваченным куском прямо в лесную чащу, укрывающую одинаково и жертву, и хищника, но Пака прошел переулком, как прежде, и пошел по дороге. Его мешок был слишком тяжел, чтоб тащить его в лес. К тому же его гагарлята ждали не в лесу, а в избушке на Голодном Конце.

Ему приходилось проходить мимо макарьевской усадьбы с другой, лицевой, стороны. Но, дойдя до ворот, он остановился, как будто поперхнулся. В воротах стоял сам старый Архип Макарьев, смотрел на солнце и скреб горстью широкую сивую бороду.

Макарьев был человек неторопливый, насмешливый и хладнокровный. Также и на этот раз, видя такое необычайное явление, как старого Паку с огромным мороженым уловом, спокойствия ничуть не потерял.

– С промыслом! – приветствовал он Паку.

Пака промычал что-то непонятное.

– Где Бог дал?

Наполненный рыбой мешок опасно закачался у Паки на плече, но Пака удержал его и двинулся вперед, собираясь пройти мимо.

– Моя рыба! – сказал Макарьев решительно. Он узнал своих мороженных чиров по виду и по масти, как другие узнают лошадей.

Пака неожиданно рассвирепел.

– Твоя, так бери! – пискнул он голосом, пронзительным, как дудка. – Бери!..

Он шваркнул об землю свою трехпудовую ношу и облегченно выпрямил свою хилую спину. Мерзлые чирь поплыли из мешка по скользкому снегу в разные стороны.

– На, на!

Пака нагибался, хватал чиров и бросал их в Макарьева. Один чир, брошенный особенно яростно, ударил Макарьева плашмя в грудь и прошелся широким хвостом по его окладистой широкой бороде. Даже по носу щелкнул концом плавника. Колымчане вообще рыбою драться мастера, и на летних промыслах порою раздают друг другу здоровых лешей, правда, не лещами, а чирами и пузатыми нельмами. Но Пака затеял драться мороженой рыбой, твердой, как нарубленные доски.

Выбежали собаки и стали, урча к хрипя, растаскивать лакомый груз.

– Поцам, проклятые! Прочь! Поцам!

Макарьев споткнулся и брякнулся грудью на свое погибающее добро. Пака с сердцем дернул свою реднину, такую же тощую, как прежде, и поплелся домой к своим голодным гагарлятам.

Макарьев осмотрел свой замок и даже испугался, несмотря на свое хладнокровие. Сколько ни стояла Колыма, не бывало такого, чтобы бедные ломали замки у богатых и уносили пищу прямо среди белого дня.

Правда, экономика колымская была какая-то игрушечная, вроде игры в бирюльки. Все продавалось, начиная от труда и кончая девичьей честью. Продавалось задешево уже потому, что не особенно ценилось даже основными владельцами. Платили не деньгами, а едой или товаром. Деньги вообще ходу не имели. Колымчане считали, как дикие чукчи, на чай и табак, например, нанимались в батраки – три кирпичка чаю в месяц, папуша табаку, ситцу на рубаху, дрели на порты, сары, полусарки¹⁶ и так далее, во всю бесконечную длину потребительского списка.

Более дешевые вещи считали на рыбы хвосты.

Парни распевали довольно известную песню:

Вот Чичирку за хачирку,
А Аленку за чилим.

Песня эта требует пояснения. Чичирка – женское имя. Хачирка – мелкая сушеная рыба. Чилим, силим – жвачка табаку. Таким образом, характер вышеуказанной торговой операции становится ясен.

«Малые люди», разумеется, были в долгу у «больших», но они не относились к этому очень серьезно. Поймает, например, тот же Пака в капкан неожиданно, почти против воли, хорошую лисицу-огневку, он не несет ее к своему постоянному «хозяину», точнее кредитору, Явловскому, а норовит продать ее из-под полы другому и непременно за наличный расчет.

Каждый из малых людей был в долгу, как в шелку, и его положение было такое: отдашь по закону, засчитают за долг и больше ничего не дадут. Сделки, таким образом, помимо всяких долгов, производились за наличный расчет. Это было, в сущности, начало естественной отмены долгов.

На другой день к обеду исправничий «драбант» Дормедонт привел Паку на суд пред грозные очи его высококородия. Пака не сробел, пошел. Даже вскинул на плечо ту же добавочную двойную реднину – мешок.

– Ты, что ли, сломал амбар у Макарьева? – грозно спросил исправник.

– Не запираюсь, я! – спокойно ответил Гагара.

– Да как же ты смел! – вскипел исправник. – Да я тебя в холодную посажу!

– Посадишь?.. – Лицо Паки сморщилось, как у собаки, готовой укусить. – Посадишь, да?.. А гагарленков моих кто будет кормить? Пятеро их у меня. Вот приведу и оставлю в твоей канцелярии, кормите их, да, вы, начальники!.. – Пака перешел в наступление. – Отольются вам

¹⁶ Обувь.

наши слезы! – визжал он своим колющим, как дудка, голосом. – Голодные сидим. Не унес я ничего у твоего мордастого Макарьева. На, смотри, и мешок пустой! – Он дернул реднину и чуть не задел исправника по лицу. – Но вы погодите, мы вам покажем! – Пака повернулся и вышел из двери, волоча за собою свой пустой мешок.

Так и не посадил исправник Паку в холодную. На это было несколько причин. Первая причина: в Колымске не было холодной. Согрешивших казаков и мешан сажали в караулку, к старику Луковцеву, постоянно сторожившему казенный магазин. Алеха Выпивоха, казачок, представлял охрану временную и вовсе бездомовную.

Луковцев был тоже из «малых людей», к тому же он вел дружбу с Павлом Гагарой. Посадить Паку в караулку было не лучше, чем послать его домой. И власть предержавшая предпочла отпустить его просто и без затей. Кроме того, арестованным надо было платить кормовые по 98 коп. на человека в день. Таким образом, Пака на двухмесячной высидке мог обойтись казне рублей в шестьдесят. Меньше двух месяцев назначить было невозможно. В расчеты исправника совсем не входило выдавать правонарушителям на реке Колыме хорошие казенные премии.

Так совершилась на реке Колыме первая экспроприация.

V

1914 год выдавался обилием промысла. Рыба, пушнина, олени на тундре и лоси в лесу – всего было вдоволь. Даже ламуты заплатили торговцам свои невероятные долги белками, песцами и горностаями. Природа словно хотела побаловать людей в последний раз перед нависшей грозой. Но о грозе никто не думал. Среди всеобщего обилия Голодный Конец на время перестал соответствовать своему прозвищу. Гагарленки старого Паки набивали отборною рыбою свои ненасытные зобы, и Щербатая выть жевала и мяла еду своими щербатыми ртами.

Ребятишки отбились от дому. Летом в каждом ручье есть еда и можно промыслять рыбу хоть штанами, как в юкагирской сказке. Викеша Казачонок больше не клевал краснощековую Аленку своим вороньим носом, и оба они карабкались рядом на склоны рыжих скал, выбирая из-под папороти крепкую и твердую бруснику, как красненькие бусы. И так настала осень с тихими ночными морозами, с первой, особенно сладкой мороженой рыбой – строганиной.

В октябрьский вечерок Андрейка и Викеша уже пробовали лепить молодые снежки из густо нападавшей пороши. Мало им было дня, так они прихватили и вечер. Как вдруг проступал по звонкой земле скачущий конь своими подкованными копытами. На всей Колыме три подковы, и те завезены с юга и прибиты для счастья над воротами у трех казаков.

Конь проскакал и запнулся у калитки.
Нарочный... Гонец из Якутска.

В 1881 году по сонным улицам Колымска впервые проскакал такой сверхъестественный гонец с воплем и воем: «Убили царя, убили Лександру второго!» И жители заперлись в страхе. Убили царя – все равно что убили Бога.

Вот тогда сразу решили поречане: «Безбожная южная Русь, ежели не побоялась, убила царяющего бога».

В 1894 году другой гонец привез на гриве лошади новую весть: «Царь помер, тоже Лександра, по счету третий».

Но тут колымчане уже осмелели, и чей-то голос из темноты крикнул с простодушным любопытством: «Сам, али тоже убили?»

И гонец объяснил, во избежание недоразумений: «Сам подох».

На Колыме, как сказано, вещи называются естественными именами.

А еще через десятку, в 1904 году, гонец принес на уздечке коня хлесткое слово «война». Теперь на четвертую десятку новый гонец принес новую войну. Две царских смерти и две войны – вот был итог новостей, приходивших с далекого юга за сорок лет в заброшенную Колыму.

Война Колымы не касалась. Там не было рекрутчины ни раньше, ни теперь. Туда забежали порою беглые солдаты, дезертиры-новобранцы, да там и оставались, укрытые тяжелым бездорожьем от воинской комиссии, – даже семьи разводили и пускали новый корень. От них на Колыме и Индигирке пошли такие имена, как Солдатовы, Забегловы.

Но все же наутро весь город говорил о неслыханной войне. С целым светом задралась мудреная южная Русь. С нами четыре державы, а то пять, а то шесть. А с «ними», с «теми» – три, а то четыре. И хотя 4–6 больше, чем 3–4, но колымские политики, вспоминая недавнюю русскую встречу с азиатским японцем, решили беспристрастно: «Отдуют опять».

По-прежнему жила Колыма. Собачники ездили на тундру к чукчам за оленями, и на зимних посиделках парни бросались с размаху к девицам на колени, чтоб крепче притиснуть к скамье, и смачно целовались с ними, и «корогод» (хоровод) выпевал посредине избы:

Кинуся, броюсь,
Кинуся, броюсь.
Маме Маше на ручки,
Маме Маше на ручки,
Я на Маше посижу, я на Машу погляжу,
Поцелую, обойму, надеждушкой назову.

По-прежнему пришел конский караван из Якутска, навьюченный чаем, мукой и сахаром и разными припасами и даже, к удивлению, спиртом, в плоских, трехведерных бочонках, несмотря на строжайший запрет. Правда, спирт продавался впятеро дороже, чем прежде. Но не все ли равно. В сей год Колыма была богата. Ей было чем платить. Ничего не изменилось.

Но мало-помалу, из обрывков газет, из темных неясных и ползучих слухов сложилось суждение: светопреставление на юге. Всякие народы, и «наши», и «не-наши», ум потеряли и режутся, грызутся хуже волков и медведей.

Однажды солдат, искалеченный, безрукий и навеки перепуганный, забежал в Колыму, прямо с далекой польской Равы, за десять тысяч верст.

Левая культяпка служила ему вместо отпускного билета. Но он чувствовал себя дезертиром, беглецом и порою просыпался по ночам с криком: «Идут, зовут!» Свое настоящее имя он тщательно скрывал, и называли его поречане Егорша Безрукий.

Был он иркутянин, сибиряк, хотя из семьи новоселов. На Раву попал сейчас же из телячьего вагона с надписью: «Сорок человек, восемь лошадей», – угодил под пулемет, под завесу огня, под буханье тяжеловесных прусских «берт» и видел в сущности один короткий бой, но все же каким-то чутьем он знал самое безумное и страшное о битвах и потерях, и осадах. И он рассказывал чуть слышным голосом, зажмурив глаза, как прячутся люди месяцами в земляных окопах, а потом бросаются вперед и рвут свое тело о колючую проволоку и колют друг друга штыками, а сверху железные птицы, с пулеметами на спине, поливают их бомбами, а птиц этих снизу стреляют и бьют на лету.

И простодушные колымские люди ахали и ужасались: безбожная, немилостивая Русь, хуже диких зверей, злее убийственных чукчей!

– А за что они бьются? – спрашивали бабы.

И солдат объяснил, как умел, по-своему:

– Не хватает им земли.

Егор, сибиряк-новосел, еще понимал про российскую нужду в земле.

– Столько народу развелось на Руси, что негде пахать, а кое-которую землю получше разобрали купцы да начальники. Опять же и у них, у «не наших», скажем, у германцев, тесная земля, куренка негде выгнать. Вот и отнимаются и режутся все вообще.

– А чего это – куренок?

– Птица!..

И еще большое дивовались простодушные поречанки:

– Зачем же выгонять куренка, когда можно убить его и съесть.

Мало земли!.. А в Колымском обширье о поселок от поселка стоит на тридцать верст, и в поселке два дома и только, и столько земли, что хватило бы сразу на всех, и наших, и не наших. И каждый человек на счету. Человек – это богатство.

– Дети – богатство наше! – говорит Колыма.

Ребятишки ходили за Безруким табунами. Викеша, и Егорша, и Андрей, и Савка Якутенок, из старого шаманского рода. Имя его было Прокофий, но его называли не Пронька, а Савка, по деду-шаману. И Пака Гагарленок, – тоже Пака, по отцу, – острый, суматошливый, кудлатый, похожий на сорокопуга. И еще двое братьев. Имя обоим было Микша¹⁷, одного называли Берестяный, другого Крутобокий. Берестяный был крепкий, веселый и гладкий, как белая береста, а Микша Крутобокий был кожанный, жесткий, похожий на чукотского бога, каких выставляют на праздничных санках и мажут им губы салом. У Микши Крутобокого, кстати же, была и привычка постоянно облизывать губы языком, как будто он слизывал чукотское жертвенное сало.

И девчонки, Хачирка, и Сельдятка, и Машура Широкая, и Фенька Готовая, и Аленка Гусенок, и Лика Стрела. Все они подросли за последние годы. Коноводу всей партии, Викеше, уже миновало двенадцать. Они держались в стороне от больших и от очень маленьких, устраивали особые игры, например, начали играть в войнишку.

Они делились для этого на две партии: «наших» и «не наших». Дальше этого в своих обобщениях они не пошли. Вообще же в распределении побед и поражений они были вполне беспристрастны. Например, «не наши» частенько нападали на «наших» и давали им здоровую трепку.

Японская война на севере не выразилась играми. Но эта вторая война, таинственная и ужасная, задела фантазию даже у колымских подростков. А тут был живой источник, из которого можно было почерпнуть заманчивые знания об этих беспричинных, жестоких и вполне непонятных делах.

Они смотрели Егору в рот и задавали вопросы без счета: «Чем дерутся и зачем дерутся? И куда они девают убитых и что они едят на войне?» Последние вопросы задавали девчонки. Возможно, что они подозревали жестокую Русь в смешении войны с охотой, то есть в людоедстве.

VI

Однажды на обрыве над речкой Егор стал рассказывать. В сущности, это не был рассказ, а отрывочный ряд воспоминаний, и то, пожалуй, не личных, а общих солдатских, навеянных Егору массовым ощущением войны.

– Крыли нас немцы, почем зря. Нос высунешь – нос отстрелят. А голову – так голову. Зарылись мы в землю, как змеи. Лежим, шипим. Яд наш при нас. И вдруг подходит ко мне юнкирь.

– Вставай, сукин сын! – А мне встать неохота. Так он меня кнутом. – Ух ты! – А мне встать неохота. Так он винтовку схватил, да штыком меня, штыком. – Вставайте! Всех переколем!.. –

¹⁷ Микша – от «Николай» (Миколай), как Якша от «Яков», Кирша от «Кирилл».

Тут мы встали, пошли. А немец и почал поливать. У него пулемет-отгонялка. Что жиганет, то полоса. Сунулись назад, а у наших пулемет-погонялка. Все та же смерть. От своих еще обиднее.

Хачирка всплеснула руками:

– От чужих, от своих!.. Народы, народы немилосливые.

– Некуда нам деться, побегай. Добегай до окопов, а там проволока в три ряда повешена, как сеть. Мы давай рубить да резать. Кто и застрянет на проволоке, как жук. Тут, там, везде вопят да бьются. Которые прорвались, тех немцы покололи. Тут мы назад повернули вполне.

– Как гуси в сетях, – промолвила Фенька Готовая.

Люди, повисшие на проволочной сетке, напомнили ей птичьи охоты. Колымские охотники жердями и камнями загоняют в губительные сети тысячи линялых гусей, а потом бьют их палками, или душат руками, или еще проще – перегрызают им горло зубами.

– А кто это юнкирь с кнутом, – спросил неожиданно Викеша, – русский?

– А то кто, чужой? – жестко ответил Егор. – Русский, конечно. Русский что лошадь – без кнута не возит.

– Не путай, сибиряк, – сердито отозвался Викеша. – Русский бьет, и русский возит?.. Врешь ты! Русский, конечно, стегает челдонов.

Они успели узнать про Егора, что он «сибиряк-дурак», из тех самых сибирских челдонов, которых некогда завоевал Ермак.

Новоселы упрекают староселов, сибирских челдонов, что это их собственных предков завоевал Ермак, а совсем не одних полевых кругоходов татар.

– У, какой острый, – сказал хладнокровно Егор. – А ты сам кто, русский?

– Русский! – сказала за Викешу Аленка с известной гордостью. – Политика русская. Его отец на царя бонбами бросался.

– Важное кушанье, – сказал презрительно Егор. – Мы на войне сами бонбами бросаем... А российским попадает поболее сибирских. Сибирского достанешь либо нет!.. Всех больше на свете битые русские.

– Кто с кнутом? – настойчиво спрашивал Викеша.

– Известно, начальство, офицер!..

– А какое ему имя? – негромко спросил Викеша. Ему почему-то представилось, что Егор ему скажет: Авилов.

– Какой имена!.. Мы разве спрашиваем? Он тебе имя свое пропечатает на морде...

– А я бы его бонбой, – сказала Аленка Гусенок своим сладким, слегка шепелявым голоском.

– Кого? – спросили ребята, заинтересованные.

– Того, который бьет – сказала Аленка спокойно и упрямо.

Безрукий пожал плечами.

– А может, и мы?! – сказал он загадочно.

Викеша молчал, в душе его двоилось. Русь бьет, Русь бьют... Бывают различные Руси.

– Я бы убежала, не пошла, – воскликнула Хачирка.

– Быват, убегают которые в леса, – согласился Егор.

О, в леса – это было знакомое.

– Есть нечего в лесах, – объяснил Егор, – на волчьем положении.

Дети молчали, словно взвешивали, которое положение лучше, человечье или волчье.

– Трудно идти на войну, – сказал Егор. – Когда уезжали на машине, жонки с ребятами ложились под машину: задави нас, машина, до смерти, чем с милым разлучаться!..

И это было знакомое. Горечью внезапной разлуки была напоена кочевая колымская жизнь. Хачирка даже пропела тихонько:

Прощай, радость, жисть, веселье,

Слышу, едешь от меня.
Нам должно с тобой расстаться,
Тебя мне больше не видать.

А потом помолчала и вздохнула:

– Какая ваша русская жисть...

– Такая, – ответил Егор... Он долго молчал и вдруг затянул тоненьким, чуть слышным голоском:

Из-за речки, за быстрой,
Становой едет пристав.
Ой, горюшко, горе, горе,
Становой едет пристав.

– Чего это ты поешь? – спросили дети.

– А это русская песня. Вот там, где война была, там и поют. А вы не молчите, подпевайте.

За ним письмоводитель,
Суший вор-грабитель.

И дети подхватили с привычной певучей ухваткой:

Ой, горюшко, горе, горе,
Суший вор-грабитель.

Самая несчастная, злая российская жизнь!..

VII

Якутскую торговлю словно отрезало ножом. Не стало ни привозу, ни отвозу. Словно Якутск переехал на луну или прямо на тот свет.

Худосочный Колымск неожиданно стал задыхаться от обилия ненужной пушнины, готовой одежды, даже драгоценной белой юколы, которую зимою возили в Якутск по морозу. Никакой осетровый балык не может сравниться с юколою из колымского чира. Но теперь приходилось колымчанам самим потреблять свои рыбные лакомства.

Главная беда – не стало чаю, табаку, сахару, ситцу, железа, не стало ничего.

Что было у купцов, они припрятали в подполья или прямо закопали в подземных тайниках, чтоб люди не нашли и не отняли.

С удивлением и гневом Колымск, раньше полунезависимый от южной Руси, которому главное – была бы святая рыбка, наглядно ощутил, какая крепкая пуповина соединяет его с культурой. Но теперь в этой пуповине кровь перестала пульсировать.

Без русского прядева и нити не было сетей и нечем было даже ловить святую рыбку. Приходилось плести кое-как ивовые верши. Без пороху и дробы приходилось приниматься за дедовский лук.

Но от сознания этой тесной связи с югом еще более негодовал Колымск.

– Не пропускают, ничего не пропускают. Чаю ни маковой росинки, сахару ни зернышка. Злая Русь!

Раньше в Колымске говорили: «Мудреная Русь» и этим отдавали дань почтения всем выдумкам культуры, старой и новой, от церковной восковой свечи до граммофонной пластинки. Ведь был и в Колымске граммофон.

Но теперь колымчане были готовы пуститься походом на Русь и силой отнять задержанные богатства.

Вестей и гонцов из Якутска тоже не бывало. Доходили, неизвестно откуда и как, тяжелые, мутные слухи: режутся, воюют.

Тут где-то воюют, под боком, в самой Якутской губернии.

– Вот так на! – судили колымчане. – Апонцы или кто иные пришли. Столько народов воюют. Мог какой-нибудь добраться и до Ленского угла.

Другие слухи, более неопределенные, но вместе и более понятные, разъяснили:

– Никто не пришел. Сами воюются, режутся, режут друг дружку.

Собственно о революции, о революционном правительстве в Колымске не слыхали. Однако как раз через год, в июле 1918 года, в Колымске, вообще привыкшем ничему не удивляться, случилось новое чудо.

Съехал исправник из полицейского дома, так неслышно и скромно съехал, словно рассчитанный приказчик. Конечно, никто его не рассчитывал. Он сам рассчитался, рассчитал, что пора уходить, и съехал на квартиру к своей «экономке» Палаге. «Экономка» – по-колымски любовница. Очевидно, подход экономический. С собою исправник не взял ничего, ни казенных бумаг, ни вещей. Из собственных вещей взял самое необходимое, носильное платье и две колоды новых, неразодранных карт. Даже мундиры свои и шапку с кокардой, орленые пуговицы и шашку с португеей оставил на квартире при полиции, как достояние казны.

У Палаги был собственный невод, справленный, конечно, на исправничьи деньги. На другой день после своего отречения от власти, колымский Цинциннат¹⁸, вместе с Палагой и ее косоглазым братом, сели в неводный карбас и выехали за сто верст на рыбную заимку.

На колымчан это дезертирство исправника произвело впечатление гнетущее. Главное, вслед за исправником сбежал и помощник, и дежурные казаки, и писцы – и тоже бросили бумаги и пуговицы. Полиция осталась как будто чумовая, запустелая.

Последним оставался престарелый Олесов Никола. Ему было семьдесят лет. По имени он звался совсем не Николай, а именно Никола, по святому Николе Мокрому, и имел серебряный крестик за выслугу лет. Он просидел три дня совершенно один, но оторопь взяла и его. И он ушел.

Дошло до того, что даже те грозные двери, куда колымчане ходили на поклон и носили посулы, стали заплетаться паутиной.

Городу, однако, нельзя было оставаться без власти. Была казенная пушнина, хлебный и соляной магазины, боевые припасы, да мало ли что.

«Как бы не ответить за это», – подумал Колымск.

И как-то само собой составилось новое колымское правительство, деловое и нейтральное.

Оно составилось тоже из чиновников, но преимущественно из опальных, отставных, отстраненных от власти – за что? Разумеется, за взятки, воровство и так далее. Они состояли многие годы под судом. Но как только ушло настоящее начальство, эти подсудимые его заменили по праву.

Они себя называли: «Народное правительство» – почему же народное? Очевидно, неопределенный дух демократизма, даже при отсутствии вестей, как-то сообщился с юга на Колыму.

Возглавляли это правительство два отставных подсудимых. Трепандин, бывший заседатель, отданный некогда под суд, но отказавшийся ехать в Якутск на разбирательство. Судили

¹⁸ Цинциннат – римский диктатор, покинувший власть, для того чтобы пахать землю на собственном участке.

его заочно, приговорили к лишению прав состояния и к ссылке на поселение в отдаленнейшие места Восточной Сибири. Но так как достать его из Колымска не удалось, то ему и назначили ссылку в этом самом Колымске. Колымск, без сомнения, и был отдаленнейшим местом Восточной Сибири.

Был он человек пожилой, зажиточный и по-своему весьма уважаемый в городе.

Другой отставной подсудимый был Бережнев Екимша, иначе Екимша Качконок из девичьей семьи, не лучше, чем девки Щербатых. Корень этой семьи пошел от бабушки Катьки. И оттого эту ветвь Бережневых звали Качконки, Катериничи, Бережневы, Бережные – на Колыме, это очень ветвистый корень. Есть Бережневы Ростопыри, и Бережневы Лапкины, и Бережневы Брехуны. Но Бережневых Качконков стали отличать особо. Екимшу всегда называли вместо батюшки по матушке: Еким Катеринич Бережной. Насколько Трепандин был маленький, тощий, корявый, с якутской редкой бородкой, настолько Еким Катериничин был высокий, белявый, сырой, весь слепленный из славянского белого недопеченного теста. Он был казачьим командиром и под суд угодил за растрату казачьей муки. Растрату произвел в Верхоянске, а в Колымск сбежал, как в убежище преступников.

Знамя восстания против этого странного правительства поднял макарьевский батрак, Митька Ребров.

VIII

Митька Ребров писался «из якутского рода», но, в отличие от других колымчан, по-якутски говорил плохо. У него были светлые волосы и ужасные монгольские широченные скулы. Был он здоровый, плечистый, работал за двоих. А если устанет, закладывал за щеку черную жвачку из накипи табачной, выскребленной из его же собственного трубочного мундштука. Накипь была горькая, как желчь, и на жвачку годилась отлично. От нее пропадала усталость, как от крепкого вина.

Митька собственного хозяйства не заводил и с детства ходил в батраках у того же Макарьева. Получал он одиннадцать рублей на макарьевском чае и табаке. Пища на Колыме не считается. Жалованье Митькино было собственно двенадцать рублей, но Макарьев высчитывал рубль.

– Уж очень беспощадно изводишь табачишко, – говорил он в объяснение.

Митька помалкивал, и если в промежутках работы добудет какую лисицу или песца, сдавал их тому же хозяину. Плату выбирал портяным, т. е. тканями, из которых, как известно, шьют порты, и готовой меховой одеждой. У него были рубахи из серого сатина, что на Колыме считается щегольством, варваретовая куртка, подбитая лисьими лапками. Варварет, т. е. плис, на Колыме дороже наилучшей лисицы-огневки.

И так одевался Ребров лучше многих колымских казаков. Пил он крепко, раз в год, весною, когда приходил главный зимний караван. Но ума он не терял и даже по-настоящему не пьянел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.